

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Владимир Федорович
ОДОЕВСКИЙ

косморама



ImWerdenVerlag
München 2007

© Текст печатается по изданию: В. Ф. Одоевский. Записки для моего праправнука. Москва, 2006.
Примечания В. И. Сахарова.
© «Im Werden Verlag». Некоммерческое электронное издание. 2007
<http://imwerden.de>

Посв. гр<афине> Е. П. Р<остопчин>ой

Quidquid est in externo est etiam in interno*.

Неоплатоники

Предуведомление от издателя

Страсть рыться в старых книгах часто приводит меня к любопытным открытиям; со временем надеюсь большую часть из них сообщить образованной публике; но ко многим из них я считаю необходимым присовокупить вступление, предисловие, комментарий и другие ученые принадлежности; все это, разумеется, требует много времени, и потому я решился некоторые из моих открытий представить читателям просто в том виде, в каком они мне достались.

На первый случай я намерен поделиться с публикой странною рукописью, которую я купил на аукционе вместе с кипами старых счетов и домашних бумаг. Кто и когда писал эту рукопись, неизвестно, но главное то, что первая часть ее, составляющая отдельное сочинение, писана на почтовой бумаге довольно новым и даже красивым почерком, так что я, не переписывая, мог отдать в типографию. Следственно, здесь моего ничего нет; но может случиться, что некоторые из читателей посетуют на меня, зачем я многие места в ней оставил без объяснения? Спешу порадовать их известием, что я готовлю к ней до четырехсот комментариев, из которых двести уже окончены. В сих комментариях все происшествия, описанные в рукописи, объяснены как дважды два — четыре, так что читателям не остается ни малейших недоразумений: сии комментарии составят препорядочный том in-4° и будут изданы особою книгою. Между тем я непрерывно тружусь над разбором продолжения сей рукописи, к сожалению, писанной весьма нечетко, и не замедлю сообщить ее любознательной публике; теперь же ограничусь уведомлением, что продолжение имеет некоторую связь с ныне печатаемыми листами, но обнимает другую половину жизни сочинителя.

Рукопись

Если бы я мог предполагать, что мое существование будет цепью непонятных, дивных приключений, я бы сохранил для потомства все их малейшие подробности. Но моя жизнь в начале была так проста, так похожа на жизнь всякого другого человека, что мне и в голову не приходило не только записывать каждый свой день, но даже и вспоминать о нем. Чудные обстоятельства, в которых я был и свидетелем, и действующим лицом, и жертвою, влились так нечувствительно в мое существование,

* Что снаружи, то и внутри (лат.).

так естественно примешались к обстоятельствам ежедневной жизни, что я в первую минуту не мог вполне оценить всю странность моего положения.

Признаюсь, что, пораженный всем мною виденным, будучи решительно не в состоянии отличить действительность от простой игры воображения, я до сих пор не могу отдать себе отчета в моих ощущениях. Все остальное почти изгладилось из моей памяти; при всех усилиях, вспоминаю лишь те обстоятельства, которые относятся к явлениям *другой* или, лучше сказать, *посторонней* жизни, — иначе не знаю как назвать то чудное состояние, в котором я нахожусь, которого таинственные звенья начинаются с моего детского возраста, прежде, нежели я стал себя помнить, и до сих пор повторяются, с ужасною логическою последовательностию, неожиданно и почти против моей воли; принужденный бежать людей, в ежечасном страхе, чтобы малейшее движение моей души не обратилось в преступление, я избегаю себе подобных, в отчаянии поверяю бумаге мою жизнь и тщетно в усилиях разума ищу средства выйти из таинственных сетей, мне расставленных. Но я замечаю, что все мною сказанное до сих пор может быть понятно лишь для меня или для того, кто перешел чрез мои испытания, и потому спешу приступить к рассказу самых происшествий. В этом рассказе нет ничего выдуманного, ничего изобретенного для прикрас. Иногда я писал подробно, иногда сокращенно, смотря по тому, как мне служила память — так я старался предохранить себя и от малейшего вымысла. Я не берусь объяснять происшествия, со мной бывшие, ибо непонятное для читателя осталось и для меня непонятным. Может быть, тот, кому известен настоящий ключ к иероглифам человеческой жизни, воспользуется лучше меня моею собственною историею. Вот единственная цель моя!

Мне было не более пяти лет, когда, проходя однажды чрез тетушкину комнату, я увидел на столе род коробки, облепленной цветною бумажкою, на которой золотом были нарисованы цветы, лица и разные фигуры; весь этот блеск удивил, приковал мое детское внимание. Тетушка вошла в комнату. «Что это такое?» — спросил я с нетерпением.

— Игрушка, которую прислал тебе наш доктор Бин; но тебе ее дадут тогда, когда ты будешь умен. — С этими словами тетушка отодвинула ящик ближе к стене, так что я мог издали видеть лишь одну его верхушку, на которой был насажен великолепный флаг самого яркого алого цвета.

(Я должен предупредить моих читателей, что у меня не было ни отца, ни матери и я воспитывался в доме моего дяди.)

Детское любопытство было раздражено и видом ящика, и словами тетушки; игрушка, и еще игрушка, для меня назначенная! Тщетно я ходил по комнате, заглядывая то с той, то с другой стороны, чтобы посмотреть на обольстительный ящик: тетушка была неумолима; скоро ударило 9 часов, и меня уложили спать; однако мне не спалось; едва я заводил глаза, как мне представлялся ящик со всеми его золотыми цветами и флагами; мне казалось, что он растворялся, что из него выходили прекрасные дети в золотых платьях и манили меня к себе — я пробуждался; наконец я решительно не мог заснуть, несмотря на все увещания нянюшки; когда же она мне погрозилась тетушкою, я принял другое намерение: мой детский ум быстро расчел, что если я засну, то нянюшка, может быть, выйдет из комнаты, и что тетушка теперь в гостиной; я притворился спящим. Так и случилось. Нянюшка вышла из комнаты — я вскочил проворно с постели и пробрался в тетушкин кабинет; придвинуть стул к столу, взобраться на стул, ухватить руками заветный, очаровательный ящик — было делом одного мгновения. Теперь только, при тусклом свете ночной лампы, я заметил, что в ящике было круглое стекло, сквозь которое виднелся свет; оглянувшись, чтобы посмотреть, нейдет ли тетушка, я приложил глаза к стеклу и увидел рад прекрасных, богато убранных комнат, по которым ходили незнакомые мне люди, богато одетые; везде блистали лампы, зеркала, как будто был какой-то праздник; но вообразите себе

мое удивление, когда в одной из отдаленных комнат я увидел свою тетушку; возле нее стоял мужчина и горячо целовал ее руку, а тетушка обнимала дядюшку; однако ж этот мужчина был не дядюшка; дядюшка был довольно толст, черноволос и ходил во фраке; а этот мужчина был прекрасный, стройный, белокурый офицер с усами и шпорами. Я не мог довольно им налюбоваться. Мое восхищение было прервано щипком за ухо; я обернулся — передо мной стояла тетушка.

— Ах, тетушка! как, вы здесь? а я вас сейчас там видел...

— Какой вздор!..

— Как же, тетушка! и белокурый, пребравый офицер целовал у вас руку...

Тетушка вздрогнула, рассердилась, прикрикнула и за ухо отвела меня в мою спальню.

На другой день, когда я пришел поздороваться с тетушкой, она сидела за столом; перед нею стоял таинственный ящик, но только крышка с него была снята, и тетушка вынимала из него разные вырезанные картинки. Я остановился, боялся пошевелинуться, думая, что мне достанется за мою вчерашнюю проказу, но, к удивлению, тетушка не бранила меня, а, показывая вырезанные картинки, спросила: «Ну, где же ты здесь меня видел? покажи». Я долго разбирал картинки: тут были пастухи, коровки, тирольцы, турки, были и богато наряженные дамы, и офицеры, но между ними я не мог найти ни тетушки, ни белокурого офицера. Между тем этот разбор удовлетворил мое любопытство; ящик потерял для меня свое очарование, и скоро гнедая лошадка на колесах заставила меня совсем забыть о нем.

Скоро, вслед за тем, я услышал в детской, как нянюшки рассказывали друг другу, что у нас в доме приезжий, братец-гусар, и проч. т. п. Когда я пришел к дядюшке, у него сидели с одной стороны на креслах тетушка, а с другой мой белокурый офицер. Едва успел он сказать мне несколько ласковых слов, как я вскричал:

— Да я вас знаю, сударь!

— Как знаешь? — спросил с удивлением дядюшка.

— Да я уж видел вас...

— Где видел? что ты говоришь, Володя? — сказала тетушка сердитым голосом.

— В ящике, — отвечал я с простодушием.

Тетушка захохотала:

— Он видел гусара в космораме, — сказала она.

Дядюшка также засмеялся. В это время вошел доктор Бин; ему рассказали причину общего смеха, а он, улыбаясь, повторял мне: «Да, точно, Володя, ты там его видел».

Я очень полюбил Поля (так называли дальнего брата тетушки), а особенно его гусарский костюм; я бегал к Полю беспрестанно, потому что он жил у нас в доме — в комнате за оранжереей; да сверх того он, казалось, очень любил игрушки, потому что когда он сидел у тетушки в комнате, то беспрестанно посылал меня в детскую то за тою, то за другою игрушкой.

Однажды, что меня очень удивило, я принес Полю чудесного паяца, которого только что мне подарили и который руками и ногами выкидывал удивительные штуки; я его держал за веревочку, а Поль между тем за стулом держал руку у тетушки; тетушка же плакала. Я подумал, что тетушке стало жаль паяца, отложил его в сторону и от скуки принялся за другую работу. Я взял два кусочка воска и нитку; один ее конец прилепил к одной половине двери, а другой конец к другой. Тетушка и Поль смотрели на меня с удивлением.

— Что ты делаешь, Володя? — спросила меня тетушка, — кто тебя этому научил?

— Дядя так делал сегодня поутру. И тетушка и Поль вздрогнули.

— Где же это он делал? — спросила тетушка.

— У оранжерейной двери, — отвечал я.

В эту минуту тетушка и Поль взглянули друг на друга очень странным образом.

— Где твой гнедко? — спросил меня Поль, — приведи ко мне его; я бы хотел на нем поездить.

Второпях я побежал в детскую; но какое-то невольное чувство заставило меня остановиться за дверью, и я увидел, что тетушка с Полем пошли поспешно к оранжерейной двери, которая, не забудьте, вела к тетушкину кабинету, тщательно ее осматривали и что Поль перешагнул через нитку, приклеенную поутру дядюшкой; после чего Поль с тетушкой долго смеялись.

В этот день они оба ласкали меня более обыкновенного.

Вот два замечательнейшие происшествия моего детства, которые остались в моей памяти. Все остальное не заслуживает внимания благосклонного читателя. Меня свезли к дальней родственнице, которая отдала меня в пансион. В пансионе я получал письма от дядюшки из Симбирска, от тетушки из Швейцарии, иногда с приписками Поля. Со временем письма становились реже и реже, из пансиона поступил я прямо на службу, где получил известие, что дядюшка скончался, оставив меня по себе единственным наследником. Много лет прошло с тех пор; я успел наслужиться, испытать голода, холода, сплина, несколько обманутых надежд; наконец отпросился в отпуск, в матушку-Москву, с самым байроническим расположением духа и с твердым намерением не давать прохода ни одной женщине.

Несмотря на время, которое протекло со дня отъезда моего из Москвы, вошедши в дядюшкин дом, который сделался моим, я ощутил чувство неизъяснимое. Надобно пройти долгую, долгую жизнь, мятежную, полную страстей и мечтаний, горьких опытов и долгой думы, чтоб понять это ощущение, которое производит вид старого дома, где каждая комната, стул, зеркало напоминает нам происшествия детства. Это явление объяснить трудно, но оно действительно существует, и всякий испытал его на себе. Может быть, в детстве мы больше мыслим и чувствуем, нежели сколько обыкновенно полагают; только этих мыслей, этих чувств мы не в состоянии обозначать словами и оттого забываем их. Может быть, эти происшествия внутренней жизни остаются прикованными к вещественным предметам, которые окружали нас в детстве и которые служат для нас такими же знаками мыслей, какими слова в обыкновенной жизни. И когда, после долгих лет, мы встречаемся с этими предметами, тогда старый, забытый мир нашей девственной души восстает пред нами, и безмолвные его свидетели рассказывают нам такие тайны нашего внутреннего бытия, которые без того были бы для нас совершенно потеряны. Так натуралист, возвратясь из долгого странствования, перебирает с наслаждением собранные им и частью забытые редкие растения, раковины, минералы, и каждый из них напоминает ему ряд мыслей, которые возбуждались в душе его посреди опасностей страннической жизни. По крайней мере, я с таким чувством пробежал ряд комнат, напоминавших мне мою младенческую жизнь; быстро дошел я до тетушкина кабинета. Все в нем оставалось на своем месте: ковер, на котором я играл; в углу обломки игрушек; под зеркалом камин, в котором, казалось, только вчера еще погасли уголья; на столе, на том же месте, стояла косморама, почерневшая от времени. Я велел затопить камин и уселся в кресла, на которые, бывало, с трудом мог вскарабкаться. Смотря на все меня окружающее, я невольно стал припоминать все происшествия моей детской жизни. День за днем, как китайские тени, мелькали они предо мною; наконец я дошел до вышеописанных случаев между тетушкой и Полем; над диваном висел ее портрет; она была прекрасная черноволосая женщина, которой смуглый румянец и выразительные глаза высказывали огненную повесть о внутренних движениях ее сердца; на другой стороне висел портрет дядюшки, дородного, толстого мужчины, у которого в простом, по-видимому, взоре была видна тонкая русская сметливость. Между выражением лиц обоих портретов была целая бездна. Сравнив их, я

понял все, что мне в детстве казалось непонятным. Глаза мои невольно устремились на космораму, которая играла такую важную роль в моих воспоминаниях; я старался понять, отчего в ее образах я видел то, что действительно случилось, и прежде, нежели случилось. В этом размышлении я подошел к ней, подвинул ее к себе и с чрезвычайным удивлением в запыленном стекле увидел свет, который еще живее напомнил мне виденное мною в моем детстве. Признаюсь, не без невольного трепета и не отдавая себе отчета в моем поступке, я приложил глаза к очарованному стеклу. Холодный пот пробежал у меня по лицу, когда в длинной галерее косморамы я снова увидел тот ряд комнат, который представлялся мне в детстве; те же украшения, те же колонны, те же картины, также был праздник; но лица были другие: я узнал многих из теперешних моих знакомых и наконец в отдаленной комнате самого себя; я стоял возле прекрасной женщины и говорил ей самые нежные речи, которые глухим шепотом отдавались в моем слухе... Я отскочил с ужасом, выбежал из комнаты на другую половину дома, призвал к себе человека и расспрашивал его о разном вздоре только для того, чтоб иметь возле себя какое-нибудь живое существо. После долгого разговора я заметил, что мой собеседник начинает дремать; я сжалился над ним и отпустил его; между тем заря уже начала заниматься; этот вид успокоил мою волнующуюся кровь; я бросился на диван и заснул, но сном беспокойным; в сновидениях мне беспрестанно являлось то, что я видел в космораме, которая мне представлялась в образе огромного здания, где все, — колонны, стены, картины, люди — все говорило языком, для меня непонятным, но который производил во мне ужас и содрогание.

Поутру меня разбудил человек известием, что ко мне пришел старый знакомый моего дядюшки, доктор Бин. Я велел принять его. Когда он вошел в комнату, мне показалось, что он совсем не переменялся с тех пор, как я его видел лет двадцать тому назад; тот же синий фрак с бронзовыми фигурными пуговицами, тот же клоч седых волос, которые торчали над его серыми, спокойными глазами, тот же всегда улыбающийся вид, с которым он заставлял меня глотать ложку ревеня, и та же трость с золотым набалдашником, на которой я, бывало, ездил верхом. После многих разговоров, после многих воспоминаний я невольно завел речь о космораме, которую он подарил мне в моем детстве.

— Неужели она цела еще? — спросил доктор, улыбаясь. — Тогда это была еще первая косморамы, привезенная в Москву; теперь она во всех игрушечных лавках. Как распространяется просвещение! — прибавил он с глупо-простодушным видом.

Между тем я повел доктора показать ему его старинный подарок; признаюсь, не без невольного трепета я переступил чрез порог тетюшкина кабинета; но присутствие доктора, а особливо его спокойный, пошлый вид меня ободрили.

— Вот ваша чудесная косморамы, — сказал я ему, показывая на нее... Но я не договорил: в выпуклом стекле мелькнул блеск и привлек все мое внимание.

В темной глубине косморамы я явственно различил самого себя и возле меня доктора Бина; но он был совсем не тот, хотя сохранил ту же одежду. В его глазах, которые мне казались столь простодушными, я видел выражение глубокой скорби; все смешное в комнате принимало в очаровательном стекле вид величественный; там он держал меня за руку, говорил мне что-то невнятное, и я с почтением его слушал.

— Видите, видите! — сказал я доктору, показывая ему на стекло, — видите ль вы там себя и меня? — С этими словами я приложил руку к ящику; в сию минуту мне сделались внятными слова, произносившиеся на этой странной сцене, и когда доктор взял меня за руку и стал щупать пульс, говоря: «что с вами?», его двойник улыбнулся. «Не верь ему, — говорил сей последний, — или, лучше сказать, не верь мне в твоём мире. Там я сам не знаю, что делаю, но здесь я понимаю мои поступки, которые в вашем мире представляются в виде *невольных побуждений*. Там я подарил тебе игрушку, сам не зная для чего, но здесь я имел в виду предостеречь твоего дядю и моего

благодетеля от несчастья, которое грозило всему вашему семейству. Я обманулся в расчетах человеческого суемудрия; ты в своем детстве случайно прикоснулся к очарованным знакам, начертанным сильною рукою на магическом стекле. С той минуты я невольно передал тебе чудную, счастливую и вместе бедственную способность; с той минуты в твоей душе растворилась дверь, которая всегда будет открываться для тебя неожиданно, против твоей воли, по законам, мне и здесь непостижимым. Злополучный счастливец! ты — ты можешь все видеть, — все, без покрывки, без звездной пелены, которая для меня самого *там* непроницаема. Мои мысли я должен передавать себе посредством сцепления мелочных обстоятельств жизни, посредством символов, тайных побуждений, темных намеков, которые я часто понимаю криво или которых вовсе не понимаю. Но не радуйся: если бы ты знал, как я скорблю над роковым моим даром, над ослепившею меня гордостью человека; я не подозревал, безрассудный, что чудная дверь в тебе раскрылась равно для благого и злого, для блаженства и гибели... и, повторяю, уже никогда не затворится. Береги себя, сын мой, — береги меня... За каждое твое действие, за каждую мысль, за каждое чувство я отвечаю наравне с тобою. Посвященный! сохрани себя от рокового закона, которому подвергается звездная мудрость! Не умертви твоего посвятителя!»... Видение зарыдало.

— Слышите, слышите? — сказал я, — что вы там говорите? — вскричал я с ужасом. Доктор Бин смотрел на меня с беспокойным удивлением.

— Вы сегодня нездоровы, — говорил он. — Долгое путешествие, увидели старый дом, вспомнили былое, — все это встревожило ваши нервы, дайте-ка я вам пропишу микстуру.

«Знаешь ли, что там, у вас, я думаю, — отвечал двойник доктора, — я думаю просто, что ты помешался. Оно так и должно быть — у вас должен казаться сумасшедшим тот, кто в вашем мире говорит языком нашего. Как я странен, как я жалок в этом образе! и мне нет сил научить, вразумить себя, — там грубы мои чувства, спеленан мой ум, в слухе звездные звуки, — я не слышу себя, я не вижу себя! Какое терзанье! и еще кто знает, может быть, в другом, в высшем мире я кажусь еще более странным и жалким. Горе! горе!»

— Выйдемте отсюда, любезный Владимир Петрович, — сказал настоящий доктор Бин, — вам нужна диета, постель, а здесь как-то холодно; меня мороз по коже подирает.

Я отнял руку от стекла: все в нем исчезло, доктор вывел меня из комнаты, я в раздумье следовал за ним, как ребенок.

Микстура подействовала; на другой день я был гораздо спокойнее и приписал все виденное мною расстроенным нервам. Доктор Бин догадался, велел уничтожить эту странную космораму, которая так сильно потрясла мое сильное воображение, по воспоминаниям ли или по другой какой-либо неизвестной мне причине. Признаюсь, я очень был доволен этим распоряжением доктора, как будто какой камень спал с моей груди; — я быстро выздоравливал, и наконец доктор позволил, даже приказал мне выезжать и стараться как можно больше искать перемены предметов и всякого рода рассеянности. «Это совершенно необходимо для ваших расстроенных нервов», — говорил доктор.

Кстати я вспомнил, что к моим знакомым и родным я еще не являлся с визитом. Объездив кучу домов, истратив почти все свои визитные билеты, я остановил карету у Петровского бульвара и вышел с намерением дойти пешком до Рождественского монастыря; невольно я останавливался на всяком шагу, вспоминая былое и любуясь улицами Москвы, которые кажутся так живописными после однообразных петербургских стен, вытянутых в шеренгу. Небольшой переулок на Трубе тянулся в гору, по которой рассыпаны были маленькие домики, построенные назло всем правилам архитектуры и, может быть, потому еще более красивые; их пестрота ве-

селила меня в детстве и теперь снова поражала меня своею прихотливою небрежно-стию. По дворам, едва огороженным, торчали деревья, а между деревьями развешаны были разные домашние принадлежности; над домом в три этажа и в одно окошко, выкрашенным красною краскою, возвышалась огромная зеленая решетка в виде голубятни, которая, казалось, придавливала весь дом. Лет двадцать тому назад эта голубятня была для меня предметом удивления; я знал очень хорошо этот дом; с тех пор он нимало не переменялся, только с бока приделали новую пристройку в один этаж и как будто нарочно выкрасили желтою краскою; с нагорья была видна внутренность двора; по нем величаво ходили дворовые птицы, и многочисленная дворня весело суетилась вокруг краснобая-пряничника. Теперь я глядел на этот дом другими глазами, видел ясно всю нелепость и безвкусию его устройства, но, не смотря на то, вид его возбуждал в душе такие чувства, которых никогда не возбудят выложенные петербургские дома, которые, кажется, готовы расшаркаться по мостовой вместе с проходящими и которые, подобно своим обитателям, так опрятны, так скучны и холодны. Здесь, напротив, все носило отпечаток живой, привольной домашней жизни, здесь видно было, что жили для себя, а не для других и, что всего важнее, располагались жить не на одну минуту, а на целое поколение. Погрузившись в философские размышления, я нечаянно взглянул на ворота и увидел имя одной из моих тетушек, которую тщетно отыскивал на Моховой; поспешно вошел я в ворота, которые, по древнему московскому обычаю, никогда не были затворены, вошел в переднюю, которая, также по московскому обычаю, никогда не была заперта. В передней спали несколько слуг, потому что был полдень; мимо их я прошел преспокойно в столовую, *передгостиную*, гостиную и, наконец, так называемую боскетную, где, под тенью нарисованных деревьев, сидела тетушка и раскладывала гранпасьянс. Она ахнула, увидев меня; но когда я назвал себя, тогда ее удивление превратилось в радость.

— Насилу ты, батюшка, вспомнил обо мне! — сказала она. — Вот сегодня уж ровно две недели в Москве, а не мог заглянуть ко мне.

— Как, тетушка, вы уж знаете?

— Как не знать, батюшка! по газетам видела. Вишь, вы нынче люди тонные, только по газетам о вас и узнаем. Вижу: приехал поручик ***. Ба! говорила я, да это мой племянник! смотрю, когда приехал — 10 числа, а сегодня 24-е.

— Уверяю вас, тетушка, что я не мог отыскать вас.

— И, батюшка! хотел бы отыскать — отыскал бы. Да что и говорить, хоть бы когда строчку написал! а ведь я тебя маленького на руках носила, — уж не говорю — часто, а хоть бы в Светлое воскресенье с праздником поздравил.

Признаюсь, я не находил, что ей отвечать, как вежливее объяснить ей, что с пятилетнего возраста я мог едва упомянуть ее имя. К счастью, она переменяла разговор.

— Да как это ты вошел? О тебе не доложили: верно, никого в передней нет. Вот, батюшка, шестьдесят лет на свете живу, а не могу порядка в доме завести. Соня, Соня! позвони в колокольчик. — При сих словах в комнату вошла девушка лет 17-ти, в белом платье. Она не успела позвонить в колокольчик... — Ах, батюшка, да вас надобно познать: ведь она тебе роденька, хоть и дальняя... Как же! дочь князя Миславского, твоего двоюродного дядюшки. Соня, вот тебе братец Владимир Петрович. Ты часто о нем слыхивала; вишь, какой молодец!

Соня покраснелась, потупила свои хорошенькие глазки и пробормотала мне что-то ласковое. Я сказал ей несколько слов, и мы уселись.

— Впрочем, не мудрено, батюшка, что ты не отыскал меня, — продолжала словоохотливая тетушка. — Я ведь свой дом продала да вот этот купила. Вишь, какой пестрый, да, правду сказать, не затем купила, а оттого, что близко Рождественского монастыря, где все мои голубчики родные лежат; а дом, нечего сказать, славный, теп-

лый, да и с какими затеями: видишь, какая славная боскетная; когда в коридоре свечку засветят, то у меня здесь точно месячная ночь.

В самом деле, взглянув на стену, я увидел грубо вырезанное в стене подобие полумесяца, в которое вставлено было зеленоватое стекло.

— Видишь, батюшка, как славно придумано. Днем в коридор светит, а ночью ко мне. Ты, я чаю, помнишь мой старый дом?

— Как же, тетушка! — отвечал я, невольно улыбаясь.

— А теперь дай-ка похвастаюсь моим новым домком.

С сими словами тетушка встала, и Соня последовала за ней. Она повела нас через ряд комнат, которые, казалось, были приделаны друг к другу без всякой цели; однако же, при более внимательном обзоре, легко было заметить, что в них все придумано было для удобства и спокойствия жизни. Везде большие светлые окошки, широкие лежанки, маленькие двери, которые, казалось, были не на месте, но между тем служили для более удобного сообщения между жителями дома. Наконец мы дошли до комнаты Соны, которая отличалась от других комнат особенною чистотою и порядком; у стенки стояли маленькие клавикорды, на столе букет цветов, возле него старая Библия, на большом комодке старинной формы с бронзою я заметил несколько томов старых книг, которых заглавия заставили меня улыбнуться.

— А вот здесь у меня Соня живет, — сказала тетушка. — Видишь, как все у ней к месту приставлено; нечего сказать, чистоplotная девка; одна у нас с нею только беда: работы не любит, а все любит книжки читать. Ну, сам ты скажи, пожалуй, что за работа девушке читать, да еще все по-немецки — вишь, немкой была воспитана.

Я хотел сказать несколько слов в оправдание прекрасной девушки, которая все молчала, краснела и потупляла глаза в землю, но тетушка прервала меня.

— Полно, батюшка, **фарлакурить!** Мы знаем, ведь ты петербургский модный человек. У вас правды на волос нет, а девка-то подумает, что она в самом деле дело делает.

С этой минуты я смотрел на Соню другими глазами: ничто нас столько не знакомит с человеком, как вид той комнаты, в которой он проводит большую часть своей жизни, и недаром новые романисты с таким усердием описывают мебели своих героев; теперь можно и с большею справедливостию переиначить старинную поговорку: «Скажи мне, где ты живешь, — я скажу, кто ты».

Тетушка была, по-видимому, смертная охотница покупать дома и строиться; она подробно рассказывала мне, как она приискала этот дом, как его купила, как его переделала, что ей стоили подрядчики, плотники, бревна, доски, гвозди. А я отвечал ей незначащими фразами и со вниманием знатока рассматривал Соню, которая все молчала. Она была, нечего сказать, прекрасна: рассыпанные по плечам *à la Valière* **русые** волосы, которые без поэтического обмана можно было назвать каштановыми, черные блестящие глазки, вострый носик, маленькие прекрасные ножки, — все в ней исчезло перед особенным гармоническим выражением лица, которого нельзя уловить ни в какую фразу... Я воспользовался той минутой, когда тетушка переводила дух, и сказал Соне: «Вы любите чтение?»

— Да, я люблю иногда чтение...

— Но, кажется, у вас мало книг?

— Много ли нужно человеку!

Эта поговорка, примененная к книгам, показалась мне довольно смешною.

— Вы знаете по-немецки. Читали ли вы Гете, Шиллера, Шекспира в переводе Шлегеля?

— Нет.

— Позвольте мне привезти вам эти книги...

— Я вам буду очень благодарна.

— Да, батюшка, ты Бог знает чего надаешь ей, — сказала тетушка.

— О, тетушка, будьте уверены...

— Прощу, батюшка, привезти таких, которые позволены.

— О, без сомнения!

— Чудное дело! Вот я дожила до 60 лет, а не могу понять, что утешного находят в книгах. В молодости я спросила однажды, какая лучшая в свете книга? Мне отвечали: «Россияда» сенатора Хераскова. Вот я и принялась ее читать; только такая, батюшка, скука взяла, что я и десяти страниц не прочла; тут я подумала, что ж, если лучшая в свете книга так скучна, что ж должны быть другие? И уж не знаю, я ли глупа, или что другое, только с тех пор, кроме газет, ничего не читаю, да и там только о приезжающих.

На эту литературную критику тетушки я не нашелся ничего отвечать, кроме того, что книги бывают различные и вкусы бывают различные. Тетушка возвратилась в гостиную, мы с Софьей медленно за ней следовали и на минуту остались почти одни.

— Не смейтесь над тетушкой, — сказала мне Софья, как бы угадывая мои мысли, — она права; понимать книги очень трудно; вот, например, мой опекун очень любил басню «Стрекоза и Муравей»; я никогда не могла понять, что в ней хорошего; опекун всегда приговаривал: ай да молодец муравей! а мне всегда бывало жалко бедной стрекозы и досадно на жестокого муравья. Я уже многим говорила, нельзя ли попросить сочинителя, чтобы он переменял эту басню, но над мной все смеялись.

— Не мудрено, милая кузина, потому что сочинитель этой басни умер еще до французской революции.

— Что это такое?

Я невольно улыбнулся такому милому невежеству и постарался в коротких словах дать моей собеседнице понятие о сем ужасном происшествии.

Софья была видимо встревожена, слезы показались у нее на глазах.

— Я этого и ожидала, — сказала она после некоторого молчания.

— Чего вы ожидали?

— То, что вы называете французскою революцией, непременно должно было произойти от басни «Стрекоза и Муравей».

Я расхохотался. Тетушка вмешалась в наш разговор:

— Что у вас там такое? Вишь, она как с тобою раскудаhtалась — а со мной так все молчит. Что ты ей там напеваешь?

— Мы рассуждаем с кузиной о французской революции.

— Помню, помню, батюшка; это когда кофей и сахар вздорожали...

— Почти так, тетушка...

— Тогда и пудру уж начали покидать; я жила тогда в Петербурге; приехали французы — смешно было смотреть на них, словно из бани вышли; теперь-то немножко попривыкли. Что за время было, батюшки!

Долго еще толковала тетушка об этом времени, перепутывала все эпохи, рассказывала, как нельзя было найти ни гвоздики, ни корицы; что вместо прованского масла делали салат со сливками и проч. т. п.

Наконец я распростился с тетушкой, разумеется, после клятвенных обещаний навещать ее как можно чаще. На этот раз я не лгал: Соня мне очень приглянулась.

На другой день явились книги, за ними я сам; на третий, на четвертый день — то же.

— Как вам понравились мои книги? — спросил я однажды у Софьи.

— Извините, я позволила себе заметить то, что в них мне понравилось...

— Напротив, я очень рад. Как бы я хотел видеть ваши заметки!

Софья принесла мне книги. В Шекспире была замечена фраза:

«Да, друг Горацио, много в сем мире такого, что и не снилось нашим мудрецам». В «Фаусте» Гете была отмечена только та маленькая сцена, где Фауст с Мефистофелем скачут по пустынной равнине.

— Чем же особенно понравилась вам именно эта сцена?

— Разве вы не видите, — отвечала София простодушно, — что Мефистофель спешит; он гонит Фауста, говорит, что там колдуют, но неужели Мефистофель боится колдовства?

— В самом деле, я никогда не понимал этой сцены!

— Как это можно? это самая понятная, самая светлая сцена! Разве вы не видите, что Мефистофель обманывает Фауста? Он боится, — здесь не колдовство, здесь совсем другое... Ах, если бы Фауст остановился!..

— Где вы все это видите? — спросил я с удивлением.

— Я... я вас уверяю, — отвечала она с особенным выражением. Я улыбнулся; она смутилась... «Может быть, я и ошибаюсь», — **прибавила она, потупив глаза.**

— И больше вы ничего не заметили в моих книгах?

— Нет, еще много, много, но только мне бы хотелось ваши книги, так сказать, просеять...

— Как просеять?

— Да! чтобы осталось то, что на сердце ложится.

— Скажите же, какие вы любите книги?

— Я люблю такие, что когда их читаешь, то делается жалко людей и хочется помогать им, а потом захочется умереть.

— Умереть? Знаете ли, что я скажу вам, кузина? вы не рассердитесь за правду?

— О нет; я очень люблю правду...

— В вас много странного; у вас какой-то особенный взгляд на предметы. Помните, намедни, когда я расшутился, вы мне сказали: «Не шутите так, берегитесь слов, ни одно наше слово не теряется; мы иногда не знаем, что мы говорим нашими словами!» Потом, когда я заметил, что вы одеты не совсем по моде, вы отвечали: «Не все ли равно? не успеешь трех тысяч раз одеться, как все пройдет: это платье с нас снимут, снимут и другое, и спросят только, что мы доброго по себе оставили, а не о том, как мы были одеты?» Согласитесь, что такие речи до крайности странны, особливо на языке девушки. Где вы набрались таких мыслей?

— Я не знаю, — отвечала Софья, испугавшись, — иногда что-то внутри меня говорит во мне, я прислушиваюсь и говорю, не думая, — и часто, что я говорю, мне самой непонятно.

— Это нехорошо. Надобно всегда думать о том, что говоришь, и говорить только то, что вы ясно понимаете...

— Мне и тетушка то же твердит; но я не знаю, как объяснить это, когда внутри заговорит, я забываю, что надобно прежде подумать — я и говорю или молчу; оттого я так часто молчу, чтобы тетушка меня не бранила; но с вами мне как-то больше хочется говорить... мне, не знаю отчего, вы как-то жалки...

— Чем же я вам кажусь жалок?

— Так! сама не знаю — а когда я смотрю на вас, мне вас жалко, так жалко, что и сказать нельзя; мне все хочется вас, так сказать, утешить, и я вам говорю, говорю, сама не зная что.

Несмотря на всю прелесть такого чистого, невинного признания, я почел нужным продолжать мою роль моралиста.

— Послушайте, кузина, я не могу вас не благодарить за ваше доброе ко мне чувство; но поверьте мне, вы имеете такое расположение духа, которое может быть очень опасно.

— Опасно? отчего же?

— Вам надобно стараться развлекаться, не слушать того, что, как вы рассказываете, внутри вам говорит...

— Не могу — уверяю вас, не могу; когда голос внутри заговорит, я не могу выговорить ничего, кроме того, что он хочет...

— Знаете ли, что в вас есть склонность к мистицизму? Это никуда не годится.

— Что такое мистицизм?

Этот вопрос показал мне, в каком я был заблуждении. Я невольно улыбнулся.

— Скажите, кто вас воспитывал?

— Когда я жила у опекуна, при мне была няня-немка, добрая Луиза; она уж умерла...

— И больше никого?

— Больше никого.

— Чему же она вас учила?

— Стряпать на кухне, шить гладью, вязать фуфайки, ходить за больными...

— Вы с ней ничего не читали?

— Как же? Немецкие вокабулы, грамматику... да! и забыла: в последнее время мы читали небольшую книжку.

— Какую?

— Не знаю, но, постойте, я вам покажу одно место из этой книжки. Луиза при прощанье вписала ее в мой альбом; тогда, может быть, вы узнаете, какая это была книжка.

В Софьином альбоме я прочел сказку, которая странным образом навсегда напечатлелась в моей памяти; вот она:

«Два человека родились в глубокой пещере, куда никогда не проникали лучи солнечные; они не могли выйти из этой пещеры иначе, как по очень крутой и узкой лестнице, и, за недостатком дневного света, зажигали свечи. Один из этих людей был беден, терпел во всем нужду, спал на голом полу, едва имел пропитание. Другой был богат, спал на мягкой постели, имел прислугу, роскошный стол. Ни один из них не видал еще солнца, но каждый о нем имел свое понятие. Бедняк воображал, что солнце великая и знатная особа, которая всем оказывает милости, и все думал о том, как бы ему поговорить с этим вельможею; бедняк был твердо уверен, что солнце сжалится над его положением и поможет ему. Приходящих в пещеру он спрашивал, как бы ему увидеть солнце и подышать свежим воздухом, — наслаждение, которого он также никогда не испытывал; приходящие отвечали, что для этого он должен подняться по узкой и крутой лестнице. — Богач, напротив, расспрашивая приходящих подробнее, узнал, что солнце огромная планета, которая греет и светит; что, вышедши из пещеры, он увидит тысячу вещей, о которых не имеет никакого понятия; но когда приходящие рассказали ему, что для сего надобно подняться по крутой лестнице, то богач рассудил, что это будет труд напрасный, что он устанет, может оступиться, упасть и сломить себе шею, что гораздо благоразумнее обойтись без солнца, потому что у него в пещере есть камин, который греет, и свеча, которая светит; к тому же, тщательно собирая и записывая все слышанные рассказы, он скоро уверился, что в них много преувеличенного и что он сам гораздо лучшее имеет понятие о солнце, нежели те, которые его видели. Один, несмотря на крутизну лестницы, не пощадил труда и выбрался из пещеры, и когда он дохнул чистым воздухом, когда увидел красоту неба, когда почувствовал теплоту солнца, тогда забыл, какое ложное о нем имел понятие, забыл прежний холод и нужду, а, падши на колени, лишь благодарил Бога за такое непонятное ему прежде наслаждение. Другой остался в смрадной пещере, перед тусклой свечою и еще смеялся над своим прежним товарищем!»*

— Это, кажется, аполог **Круммахера**, — сказал я Софье.

* Этот разговор находится в сочинении мистика **Пордэча**. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)

— Не знаю, — отвечала она.

— Он не дурен, немножко сбивчив, как обыкновенно бывает у немцев; но посмотрите, в нем то же, что я сейчас говорил, то есть что человеку надобно трудиться, сравнивать и думать...

— И верить, — отвечала Софья с потупленными глазами.

— Да, разумеется, и верить, — отвечал я с снисходительностию человека, принадлежащего XIX-му столетию.

Софья посмотрела на меня внимательно. «У меня в альбоме есть и другие выписки; посмотрите, в нем есть прекрасные мысли, очень, очень глубокие».

Я перевернул несколько листов; в альбоме были отдельные фразы, кажется, взятые из какой-то азбуки, как, например: «Чистое сердце есть лучшее богатство. Делай добро, сколько можешь, награды не ожидай, это до тебя не касается. Если будем внимательно примечать за собою, то увидим, что за каждым дурным поступком рано или поздно следует наказание. Человек ищет счастья снаружи, а оно в его сердце», и пр. т. п. Милая кузина с пресерьезным видом читала эти фразы и с особенным выражением останавливалась на каждом слове. Она была удивительно смешна, мила...

Таковы были наши беседы с моей кузиной; впрочем, они бывали редко, и потому, что тетушка мешала нашим разговорам, так и потому, что сама кузина была не всегда словоохотлива. Ее незнание всего, что выходило из ее маленького круга, ее суждения, до невероятности детские, приводили меня и в смех и жалость; но между тем никогда еще не ощущал я в душе такого спокойствия: в ее немногих словах, в ее поступках, в ее движениях была такая тишина, такая кротость, такая елейность, что, казалось, воздух, которым она дышала, имел свойство укрощать все мятежные страсти, рассеивать все темные мысли, которые иногда тучею скоплялись в моем сердце; часто, когда раздоры мнений, страшные вопросы, все порождения умственной кичливости нашего века стесняли мою душу, когда мгновенно она переходила чрез все мытарства сомнения и я ужасался, до каких выводов достигала непреклонная житейская логика — тогда один простодушный взгляд, один простодушный вопрос невинной девушки невольно восстанавливал первобытную чистоту души моей; я забывал все гордые мысли, которые возмущали мой разум, и жизнь казалась мне понятна, светла, полна тишины и гармонии.

Тетушка сначала была очень довольна моими частыми посещениями, но наконец дала мне почувствовать, что она понимает, зачем я так часто езжу; ее простодушное замечание, которое ей хотелось сделать очень тонким, заставило меня опаматоваться и заглянуть глубже во внутренность моей души. Что чувствовал я к Софье? Мое чувство было ли любовь? Нет, любви некогда было укорениться, да и не в чем; Софья своим простодушием, своею детскою странностию, своими сентенциями, взятыми из прописей, могла забавлять меня — и только; она была слишком ребенок, младенец; душа ее была невинна и свежа до бесчувствия; она занималась больше всего тетушкой, потом хозяйством, а потом уже мною; нет, не такое существо могло пленить воображение молодого, еще полного сил человека, но уже опытного... Я уже перешел за тот возраст, когда всякое хорошенькое личико сводит с ума: в женщине мне надобно было друга, с которым бы я мог делиться не только чувствами, но и мыслями; Софья не в состоянии была понимать ни тех, ни других; а быть постоянно моралистом хотя и лестно для самолюбия, но довольно скучно. Я не хотел возбудить светских толков, которые могли бы повредить невинной девушке; прекратить их обыкновенным способом, т. е. женитьбой, я не имел намерения, а потому стал ездить к тетушке гораздо реже, — да и некогда мне было: у меня нашлось другое занятие.

Однажды на бале мне встретилась женщина, которая заставила меня остановиться. Мне показалось, что я ее уже где-то видел; ее лицо было мне так знакомо, что я едва

ей не поклонился. Я спросил о ее имени. Это была графиня Элиза Б. Это имя было мне совершенно неизвестно. Вскоре я узнал, что она с самого детства жила в Одессе и, следовательно, никаким образом не могла быть в числе моих знакомых.

Я заметил, что и графиня смотрела на меня с неменьшим удивлением; когда мы больше сблизились, она призналась мне, что и мое лицо ей показалось с первого раза знакомым. Этот странный случай подал, разумеется, повод к разным разговорам и предположениям; он невольно завлек нас в ту метафизику сердца, которая бывает так опасна с хорошенькой женщиной... Эта странная метафизика, составленная из парадоксов, анекдотов, острот, философских мечтаний, имеет отчасти характер обыкновенной школьной метафизики, т. е. отлучает вас от света, уединяет вас в особый мир, но не одного, а вместе с прекрасной собеседницей; вы несете всякий вздор, а вас уверяют, что вас поняли; с обеих сторон зарождается и поддерживается гордость, а гордость есть чаша, в которую влиты все грехи человеческие: она блестит, звенит, манит ваш взор своею чудною резьбою, и уста ваши невольно прикасаются к обольстительному напитку.

Мы обменялись с графинею этим роковым сосудом; она любовалась во мне игривостью своего ума, своею красотою, пылким воображением, изяществом своего сердца; я любовался в ней силою моего характера, смелостью моих мыслей, моею начитанностию, моими житейскими успехами...

Словом: мы уже сделались необходимы друг другу, а еще один из нас едва знал, как зовут другого, какое его положение в свете.

Правда, мы были еще невинны во всех смыслах; никогда еще слово любви не произносилось между нами. Это слово было смешно гордому человеку XIX века; оно давно им было разложено, разобрано по частям, каждая часть оценена, взвешена и выброшена за окошко, как вещь, несогласная с нашим нравственным комфортом; но я заговаривался с графинею в свете; но я засиживался у ней по вечерам; но ее рука долго, слишком долго оставалась в моей при прощании; но когда она с улыбкою и с бледнеющим лицом сказала мне однажды: «Мой муж на днях должен возвратиться... вы, верно, сойдетесь с ним» — я, человек, прошедший чрез все мытарства жизни, не нашелся что отвечать, даже не мог вспомнить ни одной пошлой фразы и, как романический любовник, вырвал свою руку, побежал, бросился в карету...

Нам обоим до сей минуты не приходило в голову вспомнить, что у графини есть муж!

Теперь дело было иное. Я был в положении человека, который только что выскок из очарованного круга, где глазам его представлялись разные фантазмагорические видения, заставляли его забывать о жизни... Он краснеет, досадуя на самого себя, зачем он был в очаровании... Теперь задача представлялась мне двойною: мне оставалось смотреть на это известие равнодушно и, пользуясь правами света, продолжать с графинею мое платоническое супружество; или, призвав на помощь донкихотство, презреть все условия, все приличия, все удобства жизни и действовать на правах отчаянного любовника. В первый раз в жизни я был в нерешимости; я почти не спал целую ночь, не спал — и от страстей, волновавшихся в моем сердце, и от досады на себя за это волнение; до сей минуты я так был уверен, что я уже неспособен к подобному ребячеству; словом, я чувствовал в себе присутствие нескольких независимых существ, которые боролись сильно и не могли победить одно другое.

Рано поутру ко мне принесли записку от графини; она состояла из немногих слов: «Именем Бога, будьте у меня сегодня, непременно сегодня; мне необходимо вас видеть».

Слова: *сегодня и необходимо* были подчеркнуты.

Мы поняли друг друга; при свидании с графинею мы быстро перешли тот промежуток, отделявший нас от прямого выражения нашей тайны, которую скрывали мы

от самих себя. Первый акт житейской комедии, обыкновенно столь скучный и столь привлекательный, был уже сыгран; оставалась катастрофа — и развязка.

Мы долго не могли выговорить слова, молча смотрели друг на друга и с жестоко-сердием предоставляли друг другу право начать разговор.

Наконец она, как женщина, как существо более доброе, сказала мне тихим, но твердым голосом:

— Я звала вас проститься... наше знакомство должно кончиться, разумеется, для нас, — прибавила она после некоторого молчания, — но не для света; — вы меня понимаете... Наше знакомство! — повторила она раздирающим голосом и с рыданием бросилась в кресла.

Я кинулся к ней, схватил ее за руку... Это движение привело ее в чувство.

— Остановитесь, — сказала она, — я уверена, что вы не захотите воспользоваться минутою слабости... Я уверена, что если б я и забылась, то вы бы первый привели меня в память... Но я и сама не забуду, что я жена, мать.

Лицо ее просияло невыразимым благородством.

Я стоял недвижно пред нею... Скорбь, какой никогда еще не переносило мое сердце, разрывала меня: я чувствовал, что кровь горячим ключом переливалась в моих жилах, — частые удары пульса звенели в висках и оглушали меня... Я призывал на помощь все усилия разума, всю опытность, приобретенную холодными расчетами долгой жизни... Но рассудок представлял мне смутно лишь черные софизмы преступления, мысли гнева и крови: они багровою пеленою закрывали от меня все другие чувства, мысли, надежды... В эту минуту дикарь, распаленный зверским побуждением, бушевал под наружностью образованного, утонченного, расчетливого европейца.

Я не знаю, чем бы кончилось это состояние, как вдруг дверь растворилась и человек подал письмо графине.

— От графа с нарочным.

Графиня с беспокойством развернула пакет, прочла несколько строк, — руки ее затряслись, она побледнела.

Человек вышел. Графиня подала мне письмо. Оно было от незнакомого человека, который уведомлял графиню, что муж ее опасно занемог на дороге в Москву, принужден был остановиться на постоялом дворе, не может писать сам и хочет видеть графиню.

Я взглянул на нее; в голове моей сверкнула неясная мысль, отразилась в моих взорах... Она поняла эту мысль, закрыла глаза рукою, как бы для того, чтобы не видеть ее, и быстро бросилась к колокольчику.

— Почтовых лошадей! — сказала она с твердостью вошедшему человеку. — Просить ко мне скорее доктора Бина.

— Вы едете? — сказал я.

— Сию минуту.

— Я за вами.

— Невозможно!

— Все знают, что уж я давно собираюсь в тверскую деревню.

— По крайней мере через день после меня.

— Согласен... но случай заставит меня остановиться с вами на одной станции, а доктор Бин мне друг с моего детства.

— Увидим, — сказала графиня, — но теперь прощайте. — Мы расстались.

Я поспешно возвратился домой, привел в порядок мои дела, рассчитал, когда мне выехать, чтобы остановиться на станции, велел своим людям говорить, что я уже дня четыре как уехал в деревню; это было вероятно, ибо в последнее время меня мало видали в свете. Через тридцать часов я уже был на большой дороге, и скоро моя ко-

ляска остановилась у ворот постоянного дома, где решалась моя участь. Я не успел войти, как по общей тревоге угадал, что все уже кончилось.

— Граф умер, — отвечали на мои вопросы, и эти слова дико и радостно отдавались в моем слухе.

В такую минуту явиться к графине, предложить ей мои услуги было бы делом обыкновенным для всякого проезжающего, не только знакомого. Разумеется, я поспешил воспользоваться этою обязанностью.

Почти в дверях встретил я Бина, который бросился обнимать меня.

— Что здесь такое? — спросил я.

— Да что! — отвечал он с своею простодушною улыбкою, — нервическая горячка... Запустил, думал доехать в Москву — да где! Она не свой брат, шутить не любит; я приехал — уж поздно было; тут что ни делай — мертвого не оживишь.

Я бросился обнимать доктора — не знаю почему, но, кажется, за его последние слова. Хорошо, что мой добрый Иван Иванович не взял на себя труда разыскивать причины такой необыкновенной нежности.

— Ее, бедную, жаль! — продолжал он.

— Кого? — сказал я, затрепетав всем телом.

— Да графиню.

— Разве она здесь? — проговорил я притворно и поспешно прибавил, — что с ней?

— Да вот уж три дня не спала и не ела.

— Можно к ней?

— Нет, теперь она, слава Богу, заснула; пусть себе успокоится до выноса... Здесь, вишь, хозяева просят, чтобы поскорее вынесли в церковь, ради проезжих.

Делать было нечего. Я скрыл свое движение, спросил себе комнату, а потом принялся помогать Ивану Ивановичу во всех нужных распоряжениях. Добрый старик не мог мною нахвалиться. «Вот добрый человек, — говорил он, — иной бы взял да уехал; еще хорошо, что ты случился, я бы без тебя пропал; правда, нам, медикам, нечего греха таить, — прибавил он с улыбкою, — случается отправлять на тот свет, но хоронить еще мне ни разу не удавалось».

Вечеру был вынос. Графиня как бы не заметила меня, и, признаюсь, я сам не в состоянии был говорить с нею в эту минуту. Станные чувства возбуждались во мне при виде покойника: он был уже немолодых лет, но в лице его еще было много свежести; кратковременная болезнь еще не успела обезобразить его. Я с истинным сожалением смотрел на него, потом с невольною гордостью взглядывал на прекрасное наследство, которое он мне оставлял после себя, и сквозь умиленные мысли нередко мелькали в голове моей адские слова, сохраненные историею: «Труп врага всегда хорошо пахнет!» Я не мог забыть этих слов, зверских до глупости; они беспрестанно звучали в моем слухе. — Служба кончилась, мы вышли из церкви. Графиня, как бы угадывая мое намерение, подослала ко мне человека сказать, что она благодарит меня за участие и что завтра сама будет готова принять меня. Я повиновался.

Волнение, в котором я находился во все эти дни, не дало мне заснуть до самого восхождения солнца. Тогда беспокойный сон, полный безобразных видений, сомкнул мне глаза на несколько часов; когда я проснулся, мне сказали, что графиня уже возвратилась из церкви; я наскоро оделся и пошел к ней.

Она приняла меня. Она не хотела притворствовать, не показывала мнимого отчаяния, но спокойная грусть ясно выражалась на лице ее. Я не буду вам говорить, что беспорядок ее туалета, черное платье делали ее еще прелестнее.

Долго мы не могли сказать ничего друг другу, кроме пошлых фраз, но наконец чувства переполнились, мы не могли более владеть собою и бросились друг другу в объятия. Это был наш первый поцелуй, но поцелуй дружбы, братства.

Мы скоро успокоились. Она рассказала мне о своих будущих планах; через два дня, отдав последний долг покойнику, она возвратится в Москву, а оттуда проедет с детьми в украинскую деревню. Я отвечал ей, что у меня в Украине также есть небольшая усадьба, и мы скоро увидели, что были довольно близкими соседями. Я не мог верить своему счастью; передо мной наполнялась прекрасная мечта и мысль юности: уединение, теплый климат, прекрасная, умная женщина и долгий ряд счастливых дней, полных животворной любви и спокойствия.

Так протекали два дня; мы видались почти ежеминутно, и наше счастье было так полно, так невольно вырывались из души слова надежды и радости, что даже Иван Иванович начал поглядывать на нас с улыбкою, которую ему хотелось сделать насмешливою, а наедине намекал мне, что не надобно упускать вдовушки, тем более что она была очень несчастлива с покойником, который был человек капризный, плотский и мстительный. Я теперь впервые узнал эти подробности, и они мне служили ключом к разным мыслям и поступкам графини. Несмотря на странность нашего положения, в эти два дня мы не могли не сблизиться более, нежели в прежние месяцы, — чего не переговоришь в двадцать четыре часа? Мало-помалу характер графини открывался мне во всей полноте, ее огненная душа во всем блеске; мы успели поверить друг другу все наши маленькие тайны; я ей рассказал мое романтическое отчаяние; она мне призналась, что в последнее наше свидание притворялась из всех сил и уже готова была броситься в мои объятия, когда принесли роковое письмо; изредка мы позволяли себе даже немножко смеяться. Элиза вполне очаровала меня и, кажется, сама находилась в подобном очаровании; часто ее пламенный взор останавливался на мне с невыразимой любовью и с трепетом опускался в землю; я осмеливался лишь жать ее руку. Как я досадовал на светские приличия, которые не позволяли мне с сей же минуты вознаградить моей любовью все прежние страдания графини! Признаюсь, я уже с нетерпением начал ожидать, чтобы скорее отдали земле земное, и досадовал на срок, установленный законом. Наконец наступил третий день. Никогда еще сон мой не был спокойнее; прелестные видения носились над моим изголовьем: то были бесконечные сады, облитые жарким солнечным сиянием; везде — в куще деревьев, в цветных радугах я видел прекрасное лицо моей Элизы, везде она являлась мне, но в бесчисленных полупрозрачных образах, и все они улыбались, простирали ко мне свои руки, скользили по моему лицу душистыми локонами и легкою вереницею взвивались на воздух... Но вдруг все исчезло, раздался ужасный треск, сады обратились в голую скалу и на той скале явились мертвец и доктор, каким я его видел в космораме; но вид его был строг и сумрачен, а мертвец хохотал и грозил мне своим саваном. Я проснулся. Холодный пот лился с меня ручьями. В эту минуту постучались в дверь.

— Графиня вас просит к себе сию минуту, — сказал вошедший человек.

Я вскочил; раздались страшные удары грома, от туч было почти темно в комнате; она освещалась лишь блеском молнии; от порывистого ветра пыль взвивалась столбом и с шумом рассыпалась о стекла. Но мне некогда было обращать внимание на бурю: оделся наскоро и побежал к Элизе. Нет, никогда не забуду выражения лица ее в эту минуту; она была бледна как смерть, руки ее дрожали, глаза не двигались. Приличия уже были не у места; забыт светский язык, светские условия.

— Что с тобою, Элиза?

— Ничего! вздор! глупость! пустой сон!..

При этих словах меня обдало холодом...

«Сон?» — повторил я с изумлением...

— Да! но сон ужасный! Слушай! — говорила она, вздрагивая при каждом ударе грома, — я заснула спокойно... я думала о наших будущих планах, о тебе, о нашем счастье... Первые сновидения повторили веселые мечты моего воображения... Как вдруг предо мною явился покойный муж, — нет, то был не сон — я видела его само-

го, его самого: я узнала эти знакомые, еще стиснутые, почти улыбающиеся губы, это адское движение черных бровей, которым выражался в нем порыв мщения без суда и без милости... Ужас, Владимир! ужас!.. Я узнала этот неумолимый, свинцовый взор, в котором в минуту гнева вспыхивали кровавые искры; я услышала снова этот голос, который от ярости превращался в дикий свист и который я думал никогда более не слышать...

«Я все знаю, Элиза, — говорил он, — все вижу; здесь мне все ясно; ты очень рада, что я умер; ты уж готова выйти замуж за другого... Нежная, верная жена!.. Безрассудная! ты думала найти счастье — ты не знаешь, что гибель твоя, гибель детей наших соединена с твоей преступной любовью... Но этому не бывать; нет! жизнь звездная еще сильна во мне, — земляна душа моя и не хочет расстаться с землею... Мне все здесь сказали — лишь возвратясь на землю могу я спасти детей моих, лишь на земле я могу отмстить тебе, и я возвращусь, возвращусь в твои объятия, верная супруга! Дорогою, страшную цену купил я это возвращение, — ценою, которой ты и понять не можешь... Зато весь ад двинется со мною на твою преступную голову — готовься принять меня. Но слушай: на земле я забуду все, что узнал здесь; скрывай от меня твои чувства, скрывай их — иначе горе тебе, горе и мне!..» Тут он прикоснулся к лицу моему холодными, посиневшими пальцами, и я проснулась. Ужас! Ужас! Я еще чувствую на лице это прикосновение...

Бедная Элиза едва могла договорить; язык ее онемел, она вся была как в лихорадке; судорожно жалась она ко мне, закрывая глаза руками, как бы искала укрыться от грозного видения. Сам невольно взволнованный, я старался утешить ее обыкновенными фразами о расстроенных нервах, о физическом на них действии бури, об игре воображения, и сам чувствовал, как тщетны пред страшную действительностью все эти слова, изобретаемые в спокойные, беззаботные минуты человеческого суетумудрия. Я еще говорил, я еще перебирал в памяти все читанные в медицинских книгах подобные случаи, как вдруг распахнулось окошко, порывистый ветер с визгом ворвался в комнату, в доме раздался шум, означавший что-то необыкновенное...

— Это он... это он идет! — вскричала Элиза и, в трепете показывая на дверь, махала мне рукою...

Я выбежал за дверь; в доме все было в смятении; на конце темного коридора я увидел толпу людей: эта толпа приближалась... в оцепенении я прижался к стене, но нет ни сил спросить, ни собрать свои мысли... Да! Элиза не ошиблась. Это был он! он! Я видел, как толпа частью вела, частью несла его; я видел его бледное лицо; я видел его впалые глаза, с которых еще не сбежал сон смертный... Я слышал крики радости, изумления, ужаса окружающих... Я слышал прерывистые рассказы о том, как ожил граф, как он поднялся из гроба, как встретил в дверях ключаря, как доктор помогал ему... Итак, это было не видение, но действительность! Мертвый возвращался нарушить счастье живых... Я стоял как окаменелый; когда граф поравнялся со мною, в тесноте его рука, судорожно вытянутая, скользнула по лицу моему, и я вздрогнул, как будто электрическая искра пробежала по моему телу, все меня окружающее сделалось прозрачным — стены, земли, люди показались мне легкими полутенями, сквозь которые я ясно различал другой мир, другие предметы, других людей... Каждый нерв в моем теле получил способность зрения; мой магический взор обнимал в одно время и прошедшее, и настоящее, и то, что действительно было, и что могло случиться; описать всю эту картину нет возможности, рассказать ее не достанет слов человеческих... Я видел графа Б*** в различных возрастах его жизни... я видел, как над изголовьем его матери, в минуту его рождения, вились безобразные чудовища и с дикою радостью встречали новорожденного. Вот его воспитание: гнусное чудовище между ним и его наставником — одному нашептывает, другому толкует мысли себялюбия, безверия, жестокосердия, гордости; вот появление в свет молодого человека: то же гнусное чудо-

вище руководит его поступками, внушает ему тонкую сметливость, осторожность, коварство, наверное устраивает для него успехи; граф в обществе женщин: необоримая сила влечет их к нему, он ласкает одну за другою и смеется вместе с своим чудовищем; вот он за карточным столом: чудовище подбирает масти, шепчет ему на ухо, какую ставить карту; он обыгрывает, разоряет друга, отца семейства, — и богатство упрочивает его успехи в свете; вот он на поединке: чудовище нашептывает ему на ухо все софизмы дуэлей, крепит его сердце, поднимает его руку, он стреляет — кровь противника брызнула на него и запятнала вечными каплями; чудовище скрывает след его преступления. В одном из секундантов дуэли я узнал моего покойного дядю; вот граф в кабинете вельможи: он искусно клеветает на честного человека, чернит его, разрушает его счастье и заменяет его место; вот он в суде: под личиной прямоты он таит в сердце жестокость неумолимую, он видит невинного, знает его невинность и осуждает его, чтобы воспользоваться его правами; все ему удается; он богатеет, он носит между людьми имя честного, прямоты, твердого человека; вот он предлагает свою руку Элизе: на его руке капли крови и слез; она не видит их и подает ему свою руку; Элиза для него средство к различным целям: он принуждает ее принимать участие в черных, тайных делах своих, он грозит ей всеми ужасами, которые только может изобрести воображение, и когда она, подвластная его адской силе, повинуется, он смеется над ней и приготавливает новые преступления...

Все эти происшествия его жизни чудно, невыразимо соединялись между собою живыми связями; от них таинственные нити простирались к бесчисленным лицам, которые были или жертвами, или участниками его преступлений, часто проникали сквозь несколько поколений и присоединяли их к страшному семейству; между сими лицами я узнал моего дядю, тетку, Поля: все они были как затканы этою сетью, связывавшею меня с Элизою и ее мужем. Этого мало; каждое его чувство, каждая его мысль, каждое слово имело образ живых, безобразных существ, которыми он, так сказать, населил вселенную... На последнем плане вся эта чудовищная вереница примыкала к нему, полумертвому, и он влек ее в мир вместе с собою; живые же связи соединяли с ним Элизу, детей его; к ним другими путями прикреплялись нити от разных преступлений отца и являлись в виде порочных наклонностей, невольных побуждений; между толпою носились несметные, странные образы, которых ужасное впечатление не можно выразить на бумаге; в их уродливости не было ничего смешного, как то бывает иногда на картинах; они все имели человеческое подобие, но их формы, цвета, особенно выражения были разнообразны до бесконечности: чем ближе они были к мертвецу, тем ужаснее казались; над самой головой несчастного несло существо, которого взора я никогда не забуду: его лицо было тусклого зеленого цвета; алые, как кровь, волосы струились по плечам его; из глаз земляного цвета капали огненные слезы, проникали весь состав мертвеца и оживляли один член за другим; никогда я не забуду того выражения грусти и злобы, с которым это непонятное существо взглянуло на меня... Я не буду более описывать этой картины. Как описать сплетения всех внутренних побуждений, возникающих в душе человека, из которых здесь каждое имело свое отдельное, живое существование? как описать все те таинственные дела, которые совершались в мире сими существами, невидимыми для обыкновенного взора? Каждое из них магически порождало из себя новые существа, которые в свою очередь впивались в сердца других людей, отдаленных и временем и пространством. Я видел, какую ужасную, логическую взаимность имели действия сих людей; как малейшие поступки, слова, мысли в течение веков срастались в одно огромное преступление, которого основная причина была совершенно потеряна для современников; как это преступление пускало новые отрасли и в свою очередь порождало новые центры преступлений; между темными двигателями грехов человеческих носились и светлые образы, порождения душ чистых, бескровных; они также соединялись между собою

живыми звеньями, также магически размножали себя и своим присутствием уничтожали действия детей мрака. Но, повторяю, описать все, что тогда представилось моему взору, неостанет нескольких томов. В эту минуту вся история нашего мира от начала времен была мне понятна; эта внутренность истории человечества была обнажена передо мною, и необъяснимое посредством внешнего сцепления событий казалось мне очень просто и ясно; так, например, взор мой постепенно переходил по магической лестнице, где нравственное чувство, возбуждавшееся в добром испанце при виде костров инквизиции, порождало в его потомке чувство корысти и жестокосердия к мексиканцам, имевшее еще вид законности; как, наконец, это же самое чувство в последующих поколениях превратилось просто в зверство и в полное духовное обессиление. Я видел, как минутное побуждение моего собственного сердца получало свое начало в делах людей, существовавших до меня за несколько столетий... Я понял, как важна каждая мысль, каждое слово человека, как далеко простирается их влияние, какая тяжкая ответственность ложится за них на душу и какое зло для всего человечества может возникнуть из сердца одного человека, раскрывшего себя влиянию существ нечистых и враждебных... Я понял, что «человек есть мир» — не пустая игра слов, выдуманная для забавы... Когда-нибудь, в более спокойные минуты, я передам бумаге эту историю нравственных существ, обитающих в человеке и порождаемых его волею, которых только следы сохраняются в мирских летописях.

Что я принужден теперь рассказывать постепенно, то во время моего видения представлялось мне в одну и ту же минуту. Мое существо было, так сказать, раздроблено. С одной стороны, я видел развивающуюся картину всего человечества, с другой — картину людей, судьба которых была связана с моею судьбою; в этом необыкновенном состоянии организма ум равно чувствовал страдания людей, отделенных от меня пространством и временем, и страдания женщины, к которой любовь огненной чертою проходила по моему сердцу! О, она страдала, невыразимо страдала!.. Она упала на колени пред своим мучителем и умоляла его оставить ее или взять с собою. В эту минуту как завеса спала с глаз моих: я узнал в Элизе ту самую женщину, которую некогда видел в космораме; не постигаю, каким образом до сих пор я не мог этого вспомнить, хотя лицо ее всегда мне казалось знакомым; на фантазмагорической сцене я был возле нее, я также преклонял колени пред двойником графа; двойник доктора, рыдая, старался увлечь меня от этого семейства: он что-то говорил мне с большим жаром, но я не мог расслушать речей его, хотя видел движение его губ; в моем ухе раздавались лишь неясные крики чудовищ, носившихся над нами; доктор поднимал руку и куда-то указывал; я напряг все внимание и, сквозь тысячи мелькавших чудовищных существ, будто бы узнавал образ Софии, но лишь на одно мгновение и этот образ казался мне искаженным...

Во все время этого странного зрелища я был в оцепенении; душа моя не знала, что делалось с телом. Когда возвратилась ко мне раздражительность внешних чувств, я увидел себя в своей комнате на постоялом дворе; возле меня стоял доктор Бин с склянкою в руках...

— Что? — спросил я, очнувшись.

— Да ничего! здоровешенек! пульс такой, что чудо...

— У кого?

— Да у графа! Хороших было мы дел наделали! Да и то правду сказать, я никогда и не воображал, и в книгах не встречал, чтоб мог быть такой сильный обморок. Ну, точно был мертвый. Кажется, немало я на своем веку практики имел; вот уж, говорит, век живи, век учись! А вы-то, батюшка! еще были военный человек, испугались, также подумали, что мертвец идет... насилу оттер вас... Куда вам за нами, медиками! мы народ храбрый... Я вышел на улицу посмотреть, откуда буря идет, смотрю — мой мертвый тащится, а от него люди так и бегут. Я себе говорю: «Вот любопытный субъ-

ект», да к нему, — кричу, зову людей, насилу пришли; уж я его и тем и другим, — и теперь как ни в чем не бывал, еще лет двадцать проживет. Непременно этот случай опишу, объясню, в Париж пошлю, в академию, по всей Европе прогремлю, — пусть же себе толкуют... нельзя! любопытный случай!..

Доктор еще долго говорил, но я не слушал его; одно понимал я: все это было не сон, не мечта, — действительно возвратился к живым мертвый, оживленный ложною жизнью, и отнимал у меня счастье жизни... «Лошадей!» — вскричал я.

Я почти не помню, как и зачем привезли меня в Москву: кажется, я не отдавал никаких приказаний и мною распорядился мой камердинер. Долго я не показывался в свет и проводил дни один, в состоянии бесчувствия, которое прерывалось только невыразимыми страданиями. Я чувствовал, что гасли все мои способности, рассудок потерял силу суждения, сердце было без желаний; воображение напомнило мне лишь страшное, непонятное зрелище, о котором одна мысль смешивала все понятия и приводила меня в состояние, близкое к сумасшествию.

Нечаянно я вспомнил о моей простосердечной кузине; я вспомнил, как она одна имела искусство успокаивать мою душу. Как я радовался, что хоть какое-либо желание закралось в мое сердце!

Тетушка была больна, но велела принять меня. Бледная, измученная болезнью, она сидела в креслах; Софья ей прислуживала, поправляла подушки, подавала питье. Едва она взглянула на меня, как почти заплакала.

— Ах! что это мне как жалко вас! — сказала она сквозь слезы.

— Кого это жаль, матушка? — спросила тетушка прерывающимся голосом.

— Да Владимира Андреевича! Не знаю отчего, но смотреть на него без слез не могу...

— Уж лучше бы, матушка, пожалела обо мне; вишь, он и не подумает больную тетку навестить...

Не знаю, что отвечал я на упрек тетушки, который был не последний. Наконец она несколько успокоилась.

— Я ведь это, батюшка, только так говорю, оттого, что тебя люблю; вот и с Софьюшкой о тебе часто толковали...

— Ах, тетушка! зачем вы говорите неправду? У нас и помина о братце не было...

— Так! так-таки! — вскричала тетушка с гневом, — таки брякнула свое! Не посетуй, батюшка, за нашу простоту; хотела было тебе комплимент сказать, да, вишь, у меня учительша какая проявилась; лучше бы, матушка, больше о другом заботилась... — И полились упреки на бедную девушку.

Я заметил, что характер тетушки от болезни очень переменился; она всем сучала, на все досадовала; особенно без пощады бранила добрую Софью: все было не так, все мало о ней заботились, все мало ее понимали; она жестоко мне на Софью жаловалась, потом от нее переходила к своим родным, знакомым, — никому не было пощады; она с удивительною точностью вспоминала все свои неприятности в жизни, всех обвиняла, и на все роптала, и опять все свои упреки сводила на Софью.

Я молча смотрел на эту несчастную девушку, которая с ангельским смирением выслушивала старуху, а между тем внимательно смотрела, чем бы услужить ей. Я старался моим взором проникнуть эту невидимую связь, которая соединяла меня с Софьей, перенести мою душу в ее сердце, — но тщетно: предо мною была лишь обыкновенная девушка, в белом платье, с стаканом в руках.

Когда тетушка устала говорить, я сказал Софье почти шепотом: «Так вы очень обо мне жалеете?»

— Да! очень жалею и не знаю отчего.

— А мне так *вас* жалко, — сказал я, показывая глазами на тетушку.

— Ничего, — отвечала Софья, — на земле все недолго, и горе и радость; умрем, другое будет...

— Что ты там страхи-то говоришь, — вскричала тетушка, вслушавшись в последние слова. — Вот уж, батюшка, могу сказать, утешница. Чем бы больного человека развлечь, развеселить, а она нет-нет да о смерти заговорит. Что ты, хочешь намекнуть, чтобы я тебя в духовной-то не забыла, что ли? в гроб хочешь поскорее свести? Экая корыстолюбивая! Так нет, мать моя, еще тебя переживу...

Софья спокойно посмотрела в глаза старухе и сказала: «Тетушка! вы говорите неправду...»

Тетушка вышла из себя: «Как неправду? Так ты собираешься меня похоронить... Ну, скажите, батюшка, выносимо ли это? Вот какую змею я у себя пригрела».

В окружающих прислужницах я заметил явное неудовольствие; доходили до меня слова: «Злая! недобрая! уморить хочет!»

Тщетно хотел я уверить тетушку, что она приняла Софьины слова в другом смысле: я только еще более раздражал ее. Наконец решился уйти; Софья провожала меня.

— Зачем вы вводите тетушку в досаду? — сказал я кузине.

— Ничего; немножко на меня прогневается, а все о смерти подумает; это ей хорошо...

— Непонятное существо! — вскричал я, — научи и меня умереть!

Софья посмотрела на меня с удивлением.

— Я сама не знаю; впрочем, кто хочет учиться, тот уж вполтину выучен.

— Что ты хочешь сказать этим?..

— Ничего! так у меня в книжке записано...

В это время раздался колокольчик. «Тетушка меня кличет, — проговорила Софья, — видите, я угадала; теперь гнев прошел, теперь она будет плакать, а плакать хорошо, очень хорошо, особенно когда не знаешь, о чем плачешь».

С сими словами она скрылась.

Я возвратился домой в глубокой думе, бросился в кресла и старался отдать себе отчет в моем положении. То Софья представлялась мне в виде какого-то таинственного, доброго существа, которое хранит меня, которого каждое слово имеет смысл глубокий, связанный с моим существованием, то я начинал смеяться над собою, вспоминал, что к мысли о Софье воображение примешивало читанное мною в старинных легендах; что она была просто девушка добрая, но очень обыкновенная, которая кстате и некстате любила повторять самые ребяческие сентенции; эти сентенции потому только, вероятно, поражали меня, что в движении сильных, положительных мыслей нашего века они были забыты и казались новыми, как готическая мебель в наших гостиных. А между тем слова Софьи о смерти невольно звучали в моем слухе, невольно, так сказать, притягивали к себе все мои другие мысли и наконец соединили в один центр все мои духовные силы; мало-помалу все окружающие предметы для меня исчезли, неизъяснимое томление зажгло мое сердце, и глаза нежданно наполнились слезами. Это меня удивило! «Кто же плачет во мне?» — воскликнул я довольно громко, и мне показалось, что кто-то отвечает мне; меня обдало холодом, и я не мог пошевелить рукою; казалось, я прирос к креслу, и внезапно почувствовал в себе то неизъяснимое ощущение, которое обыкновенно предшествовало моим видениям и к которому я уже успел привыкнуть; действительно, чрез несколько мгновений комната моя сделалась для меня прозрачною, в отдалении, как бы сквозь светлый пар, я увидел снова лицо Софьи...

«Нет! — сказал я в самом себе: — соберем всю твердость духа, рассмотрим холодно эту фантазмагорию. Хорошо ребенку было пугаться ее: мало ли что казалось

необъяснимым?» И я впери́л в странное видение тот внимательный взор, с которым естествоиспытатель рассматривает любопытный физический опыт.

Видение подернулось как бы зеленоватым паром; лицо Софьи сделалось явственнее, но представилось мне в искаженном виде.

«А! — сказал я сам в себе: — зеленый цвет здесь играет какую-то ролю; вспомним хорошенько: некоторые газы производят также в глазе ощущение зеленого цвета; эти газы имеют одуряющее свойство — так точно! преломление зеленого луча соединено с наркотическим действием на наши нервы и обратно. Теперь пойдем далее: явление сделалось явственнее? Так и должно быть: это значит, что оно прозрачно. Так точно! в микроскопе нарочно употребляют зеленоватые стекла для рассматривания прозрачных насекомых: их формы оттого делаются явственнее...»

Чтоб сохранить хладнокровие и не отдать себя под власть воображения, я записывал мои наблюдения на бумаге; но скоро мне это сделалось невозможным; видение близилось ко мне, все делалось явственнее, а с тем вместе все другие предметы бледнели; бумага, на которой я писал, стол, мое собственное тело сделалось прозрачным, как стекло; куда я ни обращал глаза, видение следовало за моим взором. В нем я узнавал Софью: тот же облик, те же волосы, та же улыбка, но выражение было другое. Она смотрела на меня коварными, сладострастными глазами и с какою-то наглостию простирала ко мне свои объятия.

— Ты не знаешь, — говорила она, — как мне хочется выйти за тебя замуж! Ты богат, — я сама у старухи вымучу себе кое-что, — и мы заживем славно. Отчего ты мне не даешься? Как я ни притворяюсь, как ни кокетничаю с тобою — все тщетно. Тебя пугают мои суровые слова; тебя удивляет мое невинное невежество? Не верь! это все удочка, на которую мне хочется поймать тебя, потому что ты сам не знаешь своего счастья. Женись только на мне — ты увидишь, как я развернусь. Ты любишь рассеянность — я также; ты любишь сорить деньгами — я еще больше; наш дом будет чудо, мы будем давать балы, на балы приглашать родных, вотремся к ним в любовь, и наследства будут на нас дождем литься... Ты увидишь — я мастерица на эти дела...

Я оцепенел, слушая эти речи; в душе моей родилось такое отвращение к Софье, которого не могу и выразить. Я вспоминал все ее таинственные поступки, все ее двусмысленные слова — все мне было теперь понятно! Хитрый демон скрывался в ней под личиною невинности... Видение исчезло — вдали осталась лишь блестящая точка; эта точка увеличивалась постепенно, приближалась — это была моя Элиза! О, как рассказать, что случилось тогда со мною? Все нервы мои потряслись, сердце забилося, руки сами собою простерлись к обольстительному видению; казалось, она носилась в воздухе — ее кудри, как легкий дым, свивались и развивались, волны прозрачного покрывала тянулись по роскошным плечам, обхватывали талию и бились по стройным розовым ножкам. Руки ее были сложены, она смотрела на меня с упреком.

— Неверный! неблагодарный! — говорила она голосом, который, как растопленный свинец, разжигал мою душу, — ты уж забыл меня! Ребенок! ты испугался мертвого! ты забыл, что я страдаю, страдаю невыразимо, безутешно; ты забыл, что между нами обет вечный, неизгладимый! Ты боишься мнения света? Ты боишься встретиться с мертвым? Я — я не переменялась. Твоя Элиза ноет и плачет, она ищет тебя наяву и во сне, — она ждет тебя; все ей равно — ей ничего не страшно — все в жертву тебе...

— Элиза! я твой! вечно твой! Ничто не разлучит нас! — вскричал я, как будто видение могло меня слышать... Элиза рыдала, манила меня к себе, простирала ко мне руку так близко, что, казалось, я мог схватить ее, — как вдруг другая рука показалаась возле руки Элизы... Между ею и мною явился таинственный доктор; он был в рубище, глаза его горели, члены трепетали; он то являлся, то исчезал; казалось, он боролся с какою-то невидимою силою, старался говорить, но до меня доходили

только прерывающиеся слова: «Беги... гибель... таинственное мщение... совершается... твой дядя... подвинул его... на смертное преступление... его участь решена... его... давит... дух земли... гонит... она запятнана невинною кровью... он погиб без возврата... он мстит за свою гибель... он зол ужасно... он за тем возвратился на землю... гибель... гибель...»

Но доктор исчез; осталась одна Элиза. Она по-прежнему простирала ко мне руки и манила меня, исчезая... я в отчаянии смотрел вслед за нею...

Стук в дверь прервал мое очарование. Ко мне вошел один из знакомых.

— Где ты? тебя вовсе не видно! Да что с тобою? ты вне себя...

— Ничего; я так, — задумался...

— Обещаю тебе, что ты с ума сойдешь, и это непременно, и так уж тебе какие-то чертенята, я слышал, показывались...

— Да! слабость нерв... Но теперь прошло...

— Если бы тебя в руки магнетизера, так из тебя бы чудо вышло...

— Отчего так?

— Ты именно такой организации, какая для этого нужна... Из тебя бы вышел ясновидящий...

— Ясновидящий! — вскричал я...

— Да! только не советую испытывать: я эту часть очень хорошо знаю; это болезнь, которая доводит до сумасшествия. Человек бредил в магнетическом сне, потом начинает уже непрерывно бредить...

— Но от этой болезни можно излечиться...

— Без сомнения, рассеянность, общество, холодные ванны... Право, подумай. Что сидеть? бед наживешь... Что ты, например, сегодня делаешь?

— Хотел остаться дома.

— Вздор, поедем в театр, — новая опера; у меня целая ложа к твоим услугам...

Я согласился.

Магнетизм!.. Удивительно, — думал я дорогою, — как мне это до сих пор в голову не приходило. Слышал я о нем, да мало. Может быть, в нем и найду я объяснение странного состояния моего духа. Надобно познакомиться покороче с книгами о магнетизме.

Между тем мы приехали. В театре еще было мало; ложа возле нашей оставалась незанятою. На афишке предо мною я прочел: «Вампир, опера [Маршнера](#)»; она мне была неизвестна, и я с любопытством прислушивался к первым звукам увертюры. Вдруг невольное движение заставило меня оглянуться; дверь в соседней ложе скрипнула; смотрю — входит моя Элиза. Она взглянула на меня, приветливо поклонилась, и бледное лицо ее вспыхнуло. За нею вошел муж ее. Мне показалось, что я слышу могильный запах, — но это была мечта воображения. Я его не видал около двух месяцев после его оживления; он очень поправился; лицо его почти потеряло все признаки болезни... Он что-то шепнул Элизе на ухо, она отвечала ему также тихо, но я понял, что она произнесла мое имя. Мысли мои мешались; и прежняя любовь к Элизе, и гнев, и ревность, и мои видения, и действительность, — все это вместе приводило меня в сильное волнение, которое тщетно я хотел скрыть под личиною обыкновенного светского спокойствия. И эта женщина могла быть моею, совершенно моею! Наша любовь не преступна, она была для меня вдовою; она без укоризны совести могла располагать своею рукою; и мертвый — мертвый между нами! Опера потеряла для меня интерес; пользуясь моим местом в ложе, я будто бы смотрел на сцену, но не сводил глаз с Элизы и ее мужа. Она была томнее прежнего, но еще прекраснее; я мысленно рядил ее в то платье, в котором она мне представилась в видении; чувства мои волновались, душа вырывалась из тела; от нее взор мой переходил на моего таинственного соперника; при первом взгляде лицо его не имело никакого особенного выражения, но при

большем внимании вы уверялись невольно, что на этом лице лежит печать преступления. В том месте оперы, где вампир просит прохожего поворотить его к сиянию луны, которое должно оживить его, граф судорожно вздрогнул; я устремил на него глаза с любопытством, но он холодно взял лорнетку и повел ею по театру: было ли это воспоминание о его приключении, простая ли физическая игра нерв или внутренний говор его таинственной участи, — отгадать было невозможно. Первый акт кончился; приличие требовало, чтобы я заговорил с Элизою; я приблизился к балюстраде ее ложи. Она очень равнодушно познакомила меня с своим мужем; он с развязностью опытного светского человека сказал мне несколько приветливых фраз; мы разговорились об опере, об обществе; речи графа были остроумны, замечания тонки: видно было светского человека, который под личиною равнодушия и насмешки скрывает короткое знакомство с многоразличными отраслями человеческих знаний. Находясь так близко от него, я мог рассмотреть в глазах его те странные багровые искры, о которых говорила мне Элиза; впрочем, эта игра природы не имела ничего неприятного; напротив, она оживляла пронизательный взгляд графа; была заметна также какая-то злоба в судорожном движении тонких губ его, но ее можно было принять лишь за выражение обыкновенной светской насмешливости.

На другой день я получил от графа пригласительный билет на раут. Через несколько времени на обед *en petit comité** и так далее. Словом, почти каждую неделю хоть раз, но я видел мою Элизу, шутил с ее мужем, играл с ее детьми, которые хотя были не очень любезны, но до крайности смешны. Они походили более на отца, нежели на мать, были серьезны не по возрасту, что я приписывал строгому воспитанию; их слова часто меня удивляли своею значительностью и насмешливым тоном, но я не без неудовольствия заметил на этих детских лицах уже довольно ясные признаки того судорожного движения губ, которое мне так не нравилось в графе. В разговоре с графинею нам, разумеется, не нужно было приготовлений: мы понимали каждый намек, каждое движение; впрочем, никто по виду не мог бы догадаться о нашей старинной связи, ибо мы вели себя осторожно и позволяли себе даже глядеть друг на друга только тогда, когда граф сидел за картами, им любимыми до безумия.

Так прошло несколько месяцев; еще ни раза мне не удалось видеться с Элизою наедине, но она обещала мне свидание, и я жил этою надеждою.

Между тем, размышляя о всех странных случаях, происходивших со мною, я запасаюсь всеми возможными книгами о магнетизме; Пьюсепор, Делез, Вольфарт, Кизер не сходили с моего стола; наконец, казалось мне, я нашел разгадку моего психического состояния, я скоро стал смеяться над своими прежними страхами, удалил от себя все мрачные, таинственные мысли и наконец уверился, что вся тайна скрывается в моей физической организации, что во мне происходит нечто подобное очень известному в Шотландии, так называемому «второму зрению»; я с радостью узнал, что этот род нервической болезни проходит с годами и что существуют средства вовсе уничтожить ее. Следуя сим сведениям, я начертил себе род жизни, который должен был вести меня к желанной цели: я сильно противоборствовал малейшему расположению к сомнамбулизму — так называл я свое состояние; верховая езда, беспрестанная деятельность, беспрестанная рассеянность, ванна — все это вместе видимо действовало на улучшение моего физического здоровья, а мысль о свидании с Элизою изгоняла из моей головы все другие мысли.

Однажды после обеда, когда возле Элизы составилась кружок празднующихся по гостиним, она нечувствительно завела речь о суевериях, о приметах. «Есть очень умные люди, — говорила Элиза хладнокровно, — которые верят приметам и, что всего страннее, имеют сильные доказательства для своей веры; например, мой муж не пропускает никогда вечера накануне Нового года, чтоб не играть в карты; он говорит,

* в узком кругу (фр.).

что всегда в этот день он чувствует необыкновенную сметливость, необыкновенную память, в этот день ему приходят в голову такие расчеты в картах, которых он и не воображал; в этот день, говорит он, я учусь на целый год». На этот рассказ посыпался град замечаний, одно другого пустее; я один понял смысл этого рассказа: один взгляд Элизы объяснил мне все.

— Кажется, теперь 10 часов, — сказала она чрез несколько времени...

— Нет, уже 11, — отвечали некоторые простачки.

— **Le temps m'a paru trop court dans votre société, messieurs...*** — проговорила Элиза тем особенным тоном, которым умная женщина дает чувствовать, что она совсем не думает того, что говорит; но для меня было довольно.

Итак, накануне Нового года, в 10 часов... Нет, никогда я не испытывал большей радости! В течение долгих, долгих дней видеть женщину, которую некогда держал в своих объятиях, видеть и не сметь пользоваться своим правом, и наконец дожидаться счастливой, редкой минуты... Надобно испытать это непонятное во всяком другом состоянии чувство!

В последние дни перед Новым годом я потерял сон, аппетит, вздрагивал при каждом ударе маятника, ночью просыпался беспрестанно и взглядывал на часы, как бы боясь потерять минуту.

Наконец наступил канун Нового года. В эту ночь я не спал решительно ни одной минуты и встал с постели измученный, с головною болью; в невыразимом волнении ходил я из угла в угол и взором следовал за медленным движением стрелки. Пробыло восемь часов; в совершенном изнеможении я упал на диван... Я серьезно боялся занемочь, и в такую минуту!.. Легкая дремота начала склонять меня; я позвал камердинера: «Приготовить кофию, и если я засну, в 9 часов разбудить меня, но непременно — слышишь ли? Если ты пропустишь хоть минуту, я сгоню тебя со двора; если разбудишь вовремя — сто рублей».

С сими словами я сел в кресла, приклонил голову и заснул сном свинцовым... Ужасный грохот пробудил меня. Я проснулся, — руки, лицо у меня были мокры и холодны... у ног моих лежали огромные бронзовые часы, разбитые вдребезги — камердинер говорил, что я, сидя возле них, вероятно, задел их рукою, хотя он этого и не заметил. Я схватился за чашку кофею, когда послышался звук других часов, стоявших в ближней комнате; я стал считать: бьет один, два, три... восемь, девять... десять!., одиннадцать!., двенадцать!.. Чашка полетела в камердинера. «Что ты сделал?» — вскричал я вне себя.

— Я не виноват, — отвечал несчастный камердинер, обтираясь; — я исполнил в точности ваше приказание! едва начало бить девять, я подошел будить вас — вы не просыпались; я поднимал вас с кресел, а вы только изволили мне отвечать: «Еще мне рано, рано... Бога ради... не губи меня», — и снова упали в кресла; я наконец решился облить вас холодною водою; но ничто не помогало; вы только повторяли: «Не губи меня». Я уже было хотел послать за доктором, но не успел дойти до двери, как часы не знаю отчего упали и вы изволили проснуться...

Я не обращал внимания на слова камердинера, оделся как можно поспешнее, бросился в карету и поскакал к графине.

На вопрос: «Дома ли граф?» — швейцар отвечал: «Нет, но графиня дома и принимает». Я не взбежал, но взлетел на лестницу! В дальней комнате меня ждала Элиза; увидев меня, она вскрикнула с отчаянием: «Так поздно! граф должен скоро возвратиться; мы потеряли невозвратимое время!»

Я не знал, что отвечать, но минуты были дороги, упрекам не было места, мы бросились друг другу в объятия. О многом, многом нам должно было говорить; рассказать о прошедшем, условиться о настоящем, о будущем; судьба так причудливо

* Время слишком быстро пролетело в вашем обществе, господа... (фр.).

играла нами, то соединяла тесно на одно мгновение, то разлучала надолго целою бездною; жизнь наша связывалась отрывками, как минутные вдохновения беззаботного художника. Как много в ней осталось необъясненного, непонятого, недосказанного. Едва я узнал, что жизнь Элизы ад, исполненный мучений всякого рода: что нрав ее мужа сделался еще ужаснее; что он терзал ее ежедневно, просто для удовольствия; что дети были для нее новым источником страданий; что муж ее преследовал и старался убить в них всякую чистую мысль, всякое благородное чувство, что он и словами и примерами знакомил их с понятиями и страстями, которые ужасны и в зрелом человеке, — и когда бедная Элиза старалась спасти невинные души от заразы, он приучал несчастных малюток смеяться над своею матерью... Эта картина была ужасна. Мы уже говорили о возможности прибегнуть к покровительству законов, рассчитывали все вероятные удачи и неудачи, все выгоды и невыгоды такого дела... Но наш разговор слабел и прерывался беспрестанно — слова замирали на пылающих устах — мы так давно ждали этой минуты; Элиза была так обольстительно-прекрасна; негодование еще более разжигало наши чувства, ее рука впиалась в мою руку, ее голова прильнула ко мне, как бы ища защиты... Мы не помнили, где мы, что с нами, и когда Элиза в самозабвении повисла на моей груди — дверь не отворилась, но муж ее явился подле нас. Никогда не забуду этого лица: он был бледен как смерть, волосы шевелились на голове его, как наэлектризованные; он дрожал, как в лихорадке, молчал, задыхаясь, и улыбался. Я и Элиза стояли как окаменелые; он схватил нас обоих за руки... его лицо покривилось... щеки забагровели... глаза засветились... он молча устремил их на нас... Мне показалось, что огненный кровавый луч исходит из них... Магическая сила сковала все мои движения, я не мог пошевелинуться, не смел отвести глаза от страшного взора... Выражение его лица с каждым мгновением становилось свирепее, с тем вместе сильнее блистали его глаза, багровее становилось лицо... Не настоящий ли огонь зарделся под его нервами?... Рука его жжет мою руку... еще мгновение, и он заблестал, как раскаленное железо — Элиза вскрикнула — мебели задымились... синеватое пламя побежало по всем членам мертвеца — посреди кровавого блеска обозначились его кости белыми чертами... Платье Элизы загорелось; тщетно я хотел вырвать ее руку из мстительного пожатия... глаза мертвеца следовали за каждым ее движением и прожигали ее... лицо его сделалось пепельного цвета, волосы побелели и свернулись, лишь одни губы багровою полосой прорезывались по лицу его и улыбались коварною улыбкою... Пламя развилось с непостижимою быстротою: вспыхнули занавески, цветы, картины, запылал пол, потолок, густой дым наполнил всю комнату — «Дети! дети!» — вскричала Элиза отчаянным голосом. «И они с нами!» — отвечал мертвец с громким хохотом...

С этой минуты я уже не помню, что было со мною... Едкий горячий смрад задушал меня, заставлял закрывать глаза, — я слышал, как во сне, вопли людей, треск разваливающегося дома... Не знаю, как рука моя вырвалась из руки мертвеца: я почувствовал себя свободным, и животный инстинкт заставлял меня кидаться в разные стороны, чтоб избежать обваливающихся стропил... В эту минуту только я заметил пред собою как будто белое облако... всматриваюсь... в этом облаке мелькает лицо Софьи... она грустно улыбалась, манила меня... Я невольно следовал за нею... Где пролетало видение, там пламя отгибалось, и свежий, душистый воздух оживлял мое дыхание... Я все далее, далее...

Наконец я увидел себя в своей комнате. Долго не мог я опомниться; я не знал, спал я или нет; взглянул на себя — платье мое не тлело; лишь на руке осталось черное пятно... этот вид потряс все мои нервы; и я снова потерял память...

Когда я пришел в себя, я лежал в постели, не имея силы выговорить слово.

— Слава Богу! кризис кончился! есть надежда, — сказал кто-то возле меня; я узнал голос доктора Бина, я силился выговорить несколько слов — язык мне не повиновался.

После долгих дней совершенного безмолвия первое мое слово было: «Что Элиза?»

— Ничего! ничего! Слава Богу, здорова, велела вам кланяться...

Силы мои истощились на произнесенный вопрос — но ответ доктора успокоил меня.

Я стал оправляться: меня начали посещать знакомые. Однажды, когда я смотрел на свою руку и старался вспомнить, что значило на ней черное пятно, — имя графа, сказанное одним из присутствующих, поразило меня; я стал прислушиваться, но разговор был для меня непонятен.

— Что с графом? — спросил я, приподнимаясь с подушки.

— Да! ведь и ты к нему ездal, — отвечал мой знакомый, — разве ты не знаешь, что с ним случилось? Вот судьба! Накануне Нового года он играл в карты у ***; счастье ему благоприятствовало необыкновенно; он повез домой сумму необъятную; но вообрази — ночью в доме у него сделался пожар; все сторело: он сам, жена, дети, дом — как не бывали; полиция делала чудеса, но все тщетно: не спасено ни нитки; пожарные говорили, что отроду им еще не случалось видеть такого пожара: уверяли, что даже камни горели. В самом деле, дом весь рассыпался, даже трубы не торчат...

Я не дослушал рассказа: ужасная ночь живо возобновилась в моей памяти, и страшные судороги потрясли все мое тело.

— Что вы наделали, господа! — вскричал доктор Бин — но уже было поздно: я снова приблизился к дверям гроба. Однако молодость ли, попечения ли доктора, таинственная ли судьба моя — только я остался в живых.

С этих пор доктор Бин сделался осторожнее, перестал впускать ко мне знакомых и сам почти не отходил от меня...

Однажды — я уже сидел в креслах — во мне не было беспокойства, но тяжкая, тяжкая грусть, как свинец, давила грудь мою. Доктор смотрел на меня с невыразимым участием.

— Послушайте, — сказал я, — теперь я чувствую себя уже довольно крепким; не скрывайте от меня ничего: неизвестность более терзает меня...

— Спрашивайте, — отвечал доктор уныло, — я готов отвечать вам...

— Что тетушка?

— Умерла.

— А Софья?

— Вскоре после нее, — проговорил почти со слезами добрый старик.

— Когда? как?

— Она была совершенно здорова, но вдруг, накануне Нового года, с нею сделались непонятные припадки; я сроду не видал такой болезни: все тело ее было как будто обожжено...

— Обожжено?..

— Да! то есть имело этот вид; я говорю вам так, потому что вы не знаете медицины; но это, разумеется, был род острой водяной...

— И она долго страдала?

— О нет, слава Богу! Если бы вы видели, с каким терпением она сносила свои терзания, обо всех спрашивала, всем занималась... Право, настоящий ангел, хотя и была немножко простовата. Да, кстати, она и о вас не забыла: вырвала листок из своей записной книжки и просила меня отдать вам на память. Вот он.

Я с трепетом схватил драгоценный листок: на нем были только следующие слова из какой-то нравоучительной книжки: «Высшая любовь страдать за другого...» С невыразимым чувством я прижал к губам этот листок. Когда я снова хотел прочесть его, то заметил, что под этими словами были другие. «Все свершилось! — говорило магическое письмо, — жертва принесена! не жалея обо мне — я счастлива! Твой путь

еще долго, и его конец от тебя зависит. Вспомни слова мои: чистое сердце — высшее благо; ищи его».

Слезы полились из глаз моих, но то были не слезы отчаяния.

Я не буду описывать подробностей моего выздоровления, а постараюсь хотя слегка обозначить новые страдания, которым подвергся, ибо путь мой долго, как говорила Софья.

Однажды, грустно перебирая все происшествия моей жизни, я старался проникнуть в таинственные связи, которые соединяли меня с любимыми мною существами и с людьми почти мне чужими. Сильно возбудилось во мне желание узнать, что делалось с Элизою... Не успел я пожелать, как таинственная дверь моя растворилась. Я увидел Элизу пред собою; она была та же, как и в последний день, — так же молодая, так же прекрасна: она сидела в глубоком безмолвии и плакала; невыразимая грусть являлась во всех чертах ее. Возле нее были ее дети; они печально смотрели на Элизу, как будто чего от нее ожидая. Воспоминания ворвались в грудь мою, вся прежняя любовь моя к Элизе воскресла. «Элиза! Элиза!» — вскричал я, простирая к ней руки.

Она взглянула на меня с горьким упреком... и грозный муж явился пред нею. Он был тот же, как и в последнюю минуту: лицо пепельного цвета, по которому прорезывались тонкою нитью багровые губы; волосы белые, свернувшиеся клубком; он с свирепым и насмешливым видом посмотрел на Элизу, и что же? она и дети побледнели — лицо, как у отца, сделалось пепельного цвета, губы протянулись багровою чертою, в судорожных муках они потянулись к отцу и обвивались вокруг членов его... Я закричал от ужаса, закрыл лицо руками... Видение исчезло, но недолго. Едва я взглядываю на свою руку, она напоминает мне Элизу, едва вспоминаю о ней, прежняя страсть возбуждается в моем сердце, и она является предо мною снова, снова глядит на меня с упреком, снова пепелеет и снова судорожно тянется к своему мучителю...

Я решился не повторять более моего страшного опыта и для счастья Элизы стараться забыть о ней. Чтобы рассеять себя, я стал выезжать, видаться с друзьями; но скоро, по мере моего выздоровления, я начинал замечать в них что-то странное: в первую минуту они узнавали меня, были рады меня видеть, но потом мало-помалу в них рождалась какая-то холодность, похожая даже на отвращение; они силились сблизиться со мною, и что-то неволью их отталкивало. Кто начинал разговор со мною, через минуту старался его окончить; в обществах люди как будто оттягивались от меня непостижимою силою, перестали посещать меня; слуги, несмотря на огромное жалованье и на обыкновенную тихость моего характера, не проживали у меня более месяца; даже улица, на которой я жил, сделалась безлюднее; никакого животного я не мог привязать к себе; наконец, как я заметил с ужасом, птицы никогда не садились на крышу моего дома. Один доктор Бин оставался мне верен; но он не мог понять меня, и в рассказах о странной пустыне, в которой я находился, он видел одну игру воображения.

Этого мало; казалось, все несчастья на меня обрушились: что я ни предпринимал, ничто мне не удавалось; в деревнях несчастья следовали за несчастьями; со всех сторон против меня открылись тяжбы, и старые, давно забытые процессы возобновились; тщетно я всею возможною деятельностью хотел воспротивиться этому нападению судьбы — я не находил в людях ни совета, ни помощи, ни привета; величайшие несправедливости совершались против меня и всякому казались самым праведным делом. Я пришел в совершенное отчаяние...

Однажды, узнав о потере половины моего имения в самом несправедливом процессе, я пришел в гнев, которого еще никогда не испытывал; неволью я перебирал в уме все ухищрения, употребленные против меня, всю неправоту моих судей, всю

холодность моих знакомых, сердце мое забилося от досады... и снова таинственная дверь предо мною растворилась, я увидел все те лица, против которых воспалился гневом, — ужасное зрелище! В другом мире мой нравственный гнев получил физическую силу: он поражал врагов моих всеми возможными бедствиями, насылал из них болезненные судороги, мучения совести, все ужасы зла... Они с плачем простирали ко мне свои руки, молили пощады, уверяя, что в нашем мире они действуют по тайному, непреодолимому побуждению...

С этой минуты гибельная дверь души моей не затворяется ни на мгновение. Днем, ночью вокруг меня толпятся видения лиц мне знакомых и незнакомых. Я не могу вспомнить ни о ком ни с любовью, ни с гневом; все, что любило меня или ненавидело, все, что имело со мною малейшее сношение, что прикасалось ко мне, все страдает и молит меня отвести глаза мои...

В ужасе невыразимом, терзаемый ежеминутно, я боюсь мыслить, боюсь чувствовать, боюсь любить и ненавидеть! Но возможно ли это человеку? как приучить себя не думать, не чувствовать? Мысли невольно являются в душе моей — и мгновенно перед моими глазами обращаются в терзание человечеству. Я покинул все мои связи, мое богатство; в небольшой, уединенной деревне, в глуши непроходимого леса, незнаемый никем, я похоронил себя заживо; я боюсь встретиться с человеком, ибо всякий, на кого смотрю, занемогает; боюсь любоваться цветком, ибо цветок мгновенно вянет перед моими глазами... Страшно! страшно!.. А между тем этот непонятный мир, вызванный магической силою, кипит предо мною: там являются мне все приманки, все обольщения жизни, там женщины, там семейство, там все очарования жизни; тщетно я закрываю глаза — тщетно! Скоро ль, долго ль пройдет мое испытание — кто знает! Иногда, когда слезы чистого, горячего раскаяния льются из глаз моих, когда, откинув гордость, я со смирением сознаю все безобразие моего сердца, — видение исчезает, я успокаиваюсь — но недолго! Роковая дверь открыта: я, жилец здешнего мира, принадлежу к другому, я поневоле там действитель, я там — ужасно сказать, — я там *орудие казни!*

1839

Примечания

Впервые напечатано: Отечественные записки. 1840. № 1. Повесть написана в 1839 году. Печатается по хранящемуся в архиве Одоевского журнальному оттиску с позднейшей авторской правкой, подготовленному для переиздания собрания сочинений 1844 г. и помеченному как «часть первая».

Фарлакурить (от французского выражения «строить куры») — ухаживать, любезничать.

Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807) — русский писатель. Его эпическая поэма «Россияда» (1779) считалась лучшим образцом литературы классицизма.

«*Стрекоза и Муравей*» — басня французского писателя Жана де Лафонтена (1621—1695) «Кузнечик и Муравей», переделанная И. А. Крыловым.

Пордэч — английский философ-мистик, пастор, врач и натуралист Джон Пордедж (1625—1698), последователь Якоба Беме. Его сочинения переводились и издавались русскими масонами. Одоевский взял «говорящее» имя своей героини из книги Пордеджа «София», где она олицетворяет Деву — Божественную Премудрость.

Круммахер Фридрих-Адольф (1767—1845) — немецкий поэт, священник и проповедник, автор популярных басен.

Маршнер Генрих (1795—1861) — немецкий композитор-романтик.